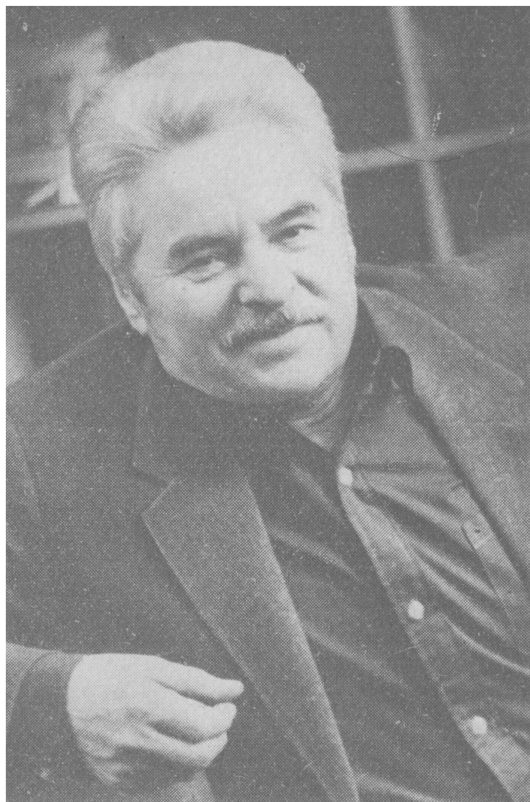


БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА



№ 15 1991

Анатолий АНАНЬЕВ

**КАНУН
ОПРИЧНИНЫ**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 15

Издается с января 1925 года

Анатолий АНАНЬЕВ

КАНУН ОПРИЧНИНЫ

Главы из нового романа
«Лики бессмертной власти»

Москва. 1991

Анатолий АНАНЬЕВ

Анатолий Андреевич Ананьев родился в 1925 году в Джамбуле, в городе, который прежде назывался Аулие-Ата (Святой отец). Когда началась война, вместе с друзьями-одногодками, с которыми учился в Наманганском сельскохозяйственном техникуме, поступил в Харьковское артиллерийское училище, размещавшееся тогда в Фергане, а по окончании училища в звании младшего лейтенанта поехал на фронт. Первое боевое крещение принял на Курской дуге, потом участвовал в боях под Новгород-Северским, Речицей, Веткой, где форсировал Днепр, под Калинковичами и под Секешфехерваром на Балатоне.

Писать начал после войны, в 1950—1952 годах. Сначала стихи, потом рассказы, повести и романы: «Танки идут ромбом», «Межа», «Годы без войны», «Скрижали и колокола».

В настоящее время возглавляет редакцию журнала «Октябрь», является народным депутатом СССР, работает над романом «Лики бессмертной власти». Читателям Библиотеки «Огонек» предлагаются главы из первой книги нового романа, которая посвящена периоду царствования Ивана Грозного. Это — завершённое по сюжету повествование, в нем рассказывается о взятии войсками Ивана Грозного Полоцка, его любви ко второй жене, Марии, и обо всей той обстановке жизни, которая предшествовала введению опричнины.

Полностью роман будет опубликован в журнале «Октябрь».

Весь почти двухверстный царский обоз, словно бы прижимаясь к изгибам дороги, медленно продвигался к Коломенскому. Впереди и на замыкании обоза ехали и шагали пешие и конные ратники, возглавляемые воеводами, по бокам, то обгоняя царские сани, то отставая от них, гарцевали на откормленных конях (и в доспехах!) Иоанновы любимцы, для которых весь этот отъезд, как уже говорилось, представлялся лишь прогулкой, предпринятой «озорным», лихим в шалостях и кутежах и охочим до них властителем; вперед, для устройства дел, посланы были князь Вяземский с кравчим Федором, сыном боярина Алексея Басманова, и подручными, и, сидя в своих с поднятым козырьком санях рядом с царицей, Иоанн смотрел на удалявшихся наметом этих своих холопствовавших вельмож, то исчезающих в низинах, то опять словно вылетающих на взгорья и пыливших снежной пылью дорогу. Если не считать сих всадников (и обоза, разумеется), даль, открывавшаяся перед Иоанном, казалась пустынной и безмолвной; она представляла перед ним во всей той своей простоте и естественности, как некогда, при отце его, Великом Князе Василии, представляла перед Герберштейном, из западных своих удобств попавшим в Россию и описавшим ее. В его представлении земля наша выглядела «мало населенною в сравнении с иными европейскими странами: редкие жительства, степи, дремучие леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельствовали, что сия держава была еще новою в гражданском образовании». Но Иоанн вряд ли знал об этих записках, и его не волновало, что «наши свойства казались наблюдателям и худыми, и добрыми, обычаи любопытными и странными»; то, что для кого-то могло представляться любопытным и странным, для него было жизнью; было тем естественным проявлением характера и желаний, границ которым он не знал и не хотел знать; белая равнина, взгорья, темные пунктиры селений, леса и монастырей, словно малые городки разбросанных по всему обширному Подмоскovie, — на все это Иоанн смотрел тяжело, как судья, готовящийся вынести роковой приговор. Сидевшая рядом царица молчала; молчал и он, наполненный думами и погруженный в себя; черные, тогда еще пышные усы его и черная, без единого седого волоса борода были покрыты изморозью, и эта искрящаяся (на царском лице его) серебристость придавала ему еще более застывшее (в жесткости своей) выражение.

Спустя два месяца, когда Иоанн решит возвратиться в Москву, он настолько переменится, что будет неузнаваем, от густых черных усов и бороды останется лишь некое измочаленное подобие, волосы выпадут, голова облысеет, возле глаз и губ прорежутся морщины, словно у изработавшегося старца, и — какое уже поколение историков, пытаюсь постичь мир сего незаурядного (в своем роде) человека, ломает голову над тем, сколько душевных усилий, сколько и каких страстей довелось испытать этому молодому еще в ту пору самодержцу России, чтобы за столь короткий срок так истощилась, поизносилась его плоть, что на площади, когда он явится перед толпой народа, дворянством и духовенством, никто не сможет без сострадания и ужаса смотреть на него. Но сознавал ли сам Иоанн, что предстояло пережить ему в тех аскетических, какими они покажутся после дворцовых палат, «кельях» Коломенского, в которых, вынужденный переживать оттепель, он проведет не одну — в мучениях и холодном поту — бессонную ночь? Нет, человеку не дано, тем более в подробностях, предвидеть масштабы своих душевных потрясений, занимают ли его вопросы государственные или свои; будущее народа, каким бы ни рисовалось оно отдельно взятому человеку, тем более — властелину, это всего лишь мираж того благоденствия, который исчезает тотчас с приближением общества к нему, и материальным тут остается только то, что связано с работой души, ее радостями или огорчениями и разочарованиями. Угатавливая насилие для людей, Иоанн даже отдаленно не предполагал, насколько готовил его для себя, ибо прежде чем творить зло, он должен был подавить в себе суть человеческого естества, то есть самую потребность в уважении и признании подобных себе, возведя (для оправдания!) тот самый мираж благоденствия и поверив в него. В Библии сказано, что человек, рождаясь, ничего не приносит в мир (добавим: кроме своих страстей), как и, уходя, ничего не может унести с собой. Но для чего же тогда сия истина, если слушающий не слышит, а читающий не внемлет ее отрезвляющей прямоте? Вопросом этим, разумеется, я вовсе не склонен упрекать одних только властителей, алчущих роскоши и величия, или каких-либо иных всякого рода накопителей, готовых, подобно Гобсеку, отдать все радости жизни за блеск золотых слитков, — нет, дело не в этом; сей грех присущ всем: и жившим, и живущим — без различия национальности и пола (как, впрочем, ни безрассудно сие явление), и это-то, может быть, более, чем упрощенное толкование изначальной истины бытия, точнее потребности человека и общества как раз и дает мне право полагать, что Иоанн в поступках и мыслях своих был столь же прост, однозначен и ясен (по заложенной в нем человеческой сути), и столь же приземлен, как и всякий, приходящий в мир, чтобы проявить себя. Он — жил (во всем понимании этого прекрасного слова), и обстоятельства, складывавшиеся вокруг него, то вызывали удовлетворение, то протест, что случалось гораздо чаще, то наталкивали на спокойные и не лишённые притягательности размышления, как было те-

перь, когда он рядом с царицей ехал в санях, и когда близость этой своей нравной, блиставшей восточной красотой женщины, по-своему влиявшей на него, и дела престола, то есть державные, которыми, казалось, он только и мог быть озабочен в сей сложный для себя час, соединяясь в целое, — семейное и государственное, — являли перед ним пространнейшую (и понятную в своих измерениях и порывах) картину его чувств, пристрастий и дел.

Воспоминания редко бывают последовательными, тем более логическими и завершенными, как они подаются в книгах, и цель их не заключена лишь в том (как она заключена для художников), чтобы как можно объемней выстроить перед собой свою жизнь; время итогов для Иоанна было еще впереди, как и минуты раскаяния и смирения перед вечностью, и будущее не представлялось ни ограниченным, ни мрачным; как монарх, он, казалось, обладал всем, чем только можно было обладать, но как человек — представлялся себе обделенным тем простым человеческим счастьем, какое обретается лишь в семье, и лишь в согласии и любви супругов. Может быть, если бы он не любил Анастасии, своей первой жены, и не познал, живя с ней, всей теплоты тех домашних отношений, какие (по исполнении государственных дел) бывали так необходимы ему и успокаивали его, то есть, если бы он, лишенный (во младенчестве еще, в сущности) родительской ласки, не почувствовал и не понял бы, что кроме наслаждения властью есть еще наслаждение покоем (покоем души), какое давала ему Анастасия, выбранная им на «ярмарке невест» и пришедшаяя всем ко двору, он не испытывал бы теперь этого ощущения обделенности; хотя после похорон Анастасии внешне все было как будто восстановлено, и вслед за увеселительными пирами, кутежами и неудачным сватовством за Екатерину, сестру польского короля, когда могли разом решиться и проблема семейная, и государственная, он был вновь обвенчан, обрел семью и должен был успокоиться — внешнее это не согласовывалось с познанным уже им миром теплоты, доверия и любви, когда бы, отходя от государственных забот, он не то чтобы мог предаваться расслабленности и спокойствию, но каждой клеткой своего царственного тела и царственной души переходил бы в это простое и подвигающее нас к первоизданности состояние. Он видел, что вторая его жена, Мария, была красива, и понимал как будто и принимал ее восточную красоту; но как ни старался при этом заполнить ее азиатской красотой свою открывшуюся пустоту, как ни насиловал, отыскивая не столько в ней, сколько в себе те супружеские нити, которые соединили бы его с ней так, как соединяли с Анастасией, — нити эти, он чувствовал, то вдруг появлялись, и тогда все вокруг словно светлело и преображалось, то обрывались, оставляя в душе лишь пустоту и холодность, как происходило теперь, когда, не оборачиваясь на царицу и не разговаривая с ней, он думал именно о ней (в преддверии готовившихся им невиданных еще для России державных перемен).

Картина, открывавшаяся теперь перед глазами Иоанна (вместе с обозом и всей той атмосферой движения, возникающей обычно при движении войск или скопищ людей), вызывала к жизни в памяти его другую, когда в такой же вот морозный декабрьский день он вместе с войском выступил из Можайска в поход на Полоцк. Ничто в том походе не было как будто связано с именем царицы Марии, Иоанн хотел только отплатить польскому королю за Ливонию и вернуть наконец России наследие «достопамятной Гориславы»; но вместе с тем, хотя он и не говорил никому об этом, его давно уже съедало желание отомстить все тому же польскому королю Сигизмунду за неудавшееся свое сватовство, вернее, за оскорбление, нанесенное королем Польши, не пожелавшим или, сказать точнее, пренебрегшим (в «угодность хану», как считали московские думные бояре) породниться с ним; и это второе и не главное как будто, с чем он отправлялся в поход и что (после похода уже) доставило ему удовлетворение, теперь, в воспоминаниях, выдвигалось вперед и по-своему оттеняло событие. Тогда, двигаясь в окружении войск, — в центре трехсоттысячной армии, подкрепленной кавалерией и пушками и сопровождаемой почти восемьюдесятью тысячами обозных людей, — он точно так же сидел в санях, один, без царицы, оставленной им на восьмом месяце беременности в Москве, и под скрип полозьев и окрики ездовых думал о ней. Он ждал наследника, и месть королю связывалась в его сознании как раз с этим предстоявшим событием, которое позволило бы ему, как он полагал, сблизиться с Марией и отбросить отторгавшее от нее: память об Анастасии и Екатерине, о красоте которой знал только по описаниям послов, но к которой, создав для себя (в дни сватовства) ее образ, странно (и заочно, как мы бы сказали теперь) привязался душой; как и Анастасия, она нет-нет, да и возникала между ним и Марией и разрушала (всякий раз) едва начинавшие укрепляться семейные узы. Потому-то успех предприятия и казался ему символичным, а победа над Сигизмундом, в которую он так желал верить, принесла бы ему победу над собой, над своими сомнениями по отношению к Марии, и восстановила бы чувство любви к ней, в котором он хотел утвердиться. «Господи, — обращался он мысленно ко всевышнему, ни на мгновение не сомневаясь, что Он, то есть Бог, есть, и что в предстоявшем событии не мог не стать на сторону справедливости (кстати, и очевидцы, и историки подтверждают, что Иоанн был набожным, и что жестокость и бесчеловечность его никак не мешали ему в этом до сентиментальности трогательным пристрастием). — Ты всесилен! Внемли, Господи, мольбе нашей и утверди истину!» Беспокойство в делах державных должно было уравниваться покоем и удовлетворенностью в семье, и Иоанн не то чтобы до конца понимал это, но бессознательно почти (как и лю-

бой простолюдин, погрязший в заботах о хлебе насущном), интуитивно испытывал необходимость в удовлетворении этой простой, но вместе с тем и самой, может быть, наивысшей потребности человека.

Но Иоанна интересовали теперь не подробности похода, не само дело — взятие Полоцка, которое осуществилось более хитростью, то есть непродуманностью и малодушием со стороны осажденных, чем отвагою и мужеством войск. Город не продержался и двух недель, разрушенный и подожженный пушками, и, может быть, лишь та минута торжества, когда среди дымящихся еще развалин, на площади, перед собором, подвели к нему схваченных королевских чиновников и вельможную шляхту во главе со связанным воеводой, — да, может быть, лишь эта именно минута торжества, венчавшая дело, когда оглядывая поверженных, униженных и долженствующих представлять унижение польского короля людей он испытывал удовлетворение, могла еще (по значимости своей) вспомниться ему; торговый, богатейший по тем временам Полоцк был отдан на разграбление, жителей выгоняли из домов, казну изъяли, латынянские костелы велено было сровнять с землей и окрестить, как свидетельствуют летописцы, литовцев и «всех жидов», а непослушных топить в Двине, и жестокость сия не только не казалась Иоанну предосудительной или излишней, но, напротив, представлялась делом вполне естественным, даже необходимым, как если бы и в самом деле он истязал не этих безвинных перед ним горожан, а своего ненавистного оскорбителя Сигизмунда. Он не вникал теперь и в подробности того, что относилось к оперативной подвижности войск и включало фланговые и обходные маневры, упреждавшие действия противника; операция, действительно, была проведена блестяще и заслуживала разбора и изучения (что, впрочем, и было сделано, но уже позднее, столетия спустя, историками и военными); вышедший в помощь защитникам Полоцка сорокатысячный отряд литовцев с двадцатью пушками под командованием гетмана Радзивилла был встречен московскими воеводами — князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, и, не посмев даже вступить с этими воеводами в бой, Радзивилл вынужден был повернуть назад; и еще, и еще множество разных подробностей, принесших победу и славу Иоанну, могли бы занимать его, но не занимали, а все было сосредоточено только на двух словно бы центрировавших все узловых точках: на совпадении его желаний с реальностью и на страшном затем разочаровании, когда все тот же всевышний, благосклонный будто бы к нему, к которому он обращался с молитвой, жестоко и за что-то, как думал Иоанн (хотя и догадывался, и знал, за что), отплатил ему.

До Коломенского оставалось еще далеко, обоз продвигался медленно, полз, переваливаясь по неровностям дороги, кругом по низинам и взгорьям стелился снег, серебристо отсвечиваясь в полуденной морозной стыни, и монотонность сего заснеженного пейзажа лишь подчеркивала монотонность движения и навела сонливость, тоску и грусть.

Порядком подуставшие ратники, открывавшие обоз и завершавшие его, шли уже не строем, а бесформенными разреженными группами, на них не покрикивали воеводы, и никто из любимцев царя, его вельможных холопей уже не обгонял монаршие сани и не гарцевал перед ними, выказывая лихость и преданность; как река, скатившаяся с гор, успокаивается в своем равнинном течении, — чем дальше отодвигалась Москва с ее державными проблемами и державным людом и чем шире распахивалась белая заснеженная даль (как белый лист бумаги) с неизмеримостью своих просторов, тем яснее приходило осознание той неизвестности, в какую самодержец России ввергал теперь себя и страну. Какая-то будто подавленность стучалась над обозом и над людьми — необъяснимая, необъятная, но реальная, как реально бывает предчувствие беды, вдруг охватывающее нас, и мы либо беспричинно раздражаемся на всех и вся, либо впадаем в уныние, с безразличием относясь и глядя на все. Минутами и на Иоанна находило это состояние, когда он вдруг терял интерес ко всему, даже к своему страшному замыслу, ради которого покинул Кремль и столицу; и борьба — все представляло бессмысленным, лишь отнимавшим время, нервы и силы и не приносившим ни желанного удовлетворения, ни покоя; духовенство, бояре, народ — все чего-то хотели, требовали, выклянчивали, выжимали, как требовала и царица — молча, холодностью, то есть тем известным и хорошо отработанным за века приемом, каким женщины обычно пытаются подчинить своей воле супругов. Нет, Иоанн не оборачивался к Марии и не смотрел на нее; временами ему казалось, что она спит или дремлет, хотя царица не спала и не дремала, а погружена была, как и он, в думы, но свои, и, чтобы не потревожить, не разбудить ее, старался не шевелиться, но мысли его — мысли продолжали работать, и когда сани, скользя и кренясь на раскатах дороги, бились в обочины, от встряски физической он как бы встряхивался и душевно, и память вновь возвращала его к полоцкому походу, к торжеству и славе и последовавшей затем расплате за эти славу и торжество, больно, язвительно (и неоплатно, главное) ущемившей его монаршее самолюбие.

* * *

Замышляя поход на Полоцк, он вместе с тем как бы загадывал, может ли царица приносить ему успех или нет; и, желая как бы помочь ей в этом тайном (и неведомом ей) деле, составил походную свиту так, что включено в нее было больше вельмож иноплемennых, азиатских, нежели своих. Цари Казанские Александр и Симеон, царевицы Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула... Каждый со своим отрядом, числом и храбростью усиливая общее войско, и это-то воинство, необычное в своих восточных, расшитых серебром и золотом бархатных одеяниях, в своих лисовых и о многом говоривших тогда русскому человеку малахаях, их непонятная скороговорка, разрезы глаз, узкие, со своей особой, равнин-

ной хитростью и скрытностью,— все, все это, молчаливо одобренное царицей и благословленное (хотя и символично, издали и только лишь по настоянию Иоанна) митрополитом Макарием, в красочной своей пестроте и с живостью представало теперь перед ним. То он видел этих царей и царевичей на походе, гордившихся приближением к нему, то в деле, когда брали штурмом внешние городские укрепления, то опять — в центре Полоцка, на площади, у собора, на фоне дымящихся руин в ту самую минуту торжества, запомнившуюся Иоанну не столько видом плененных королевских чиновников и связанного по рукам и ногам воеводы, сколько сознанием оправдавшихся в отношении царицы надежд, когда в одной только его воле было — наказать или отпустить плененных. Их привели и охраняли конники Тохтамыша и Бекбулата, готовые по одному лишь знаку царя превратить плененных в кровавое месиво; но Иоанн не подал этого знака, не взмахнул рукой — по состоянию благодущия, как он думал теперь; и хотя то, что не совершенно было конниками Тохтамыша и Бекбулата, довершилось потом, в Москве, куда отправлены были сии холопы ненавистного Иоанну оскорбителя Сигизмунда, но что-то будто подсказывало воспаленному его воображению, что тогда, на площади, он совершил оплошность, возликовав и поддавшись сему соблазнительному чувству, так как торжествовать было нечему, да и не время. Избежавший татаро-монгольского нашествия в прошлом и гордившийся этим, Полоцк, казалось, был повержен теперь и разграблен татарами, приведенными им, Иоанном. Об этом не говорили, на это не указывают летописцы; но утонченная, готовая к восприятию душа Иоанна не могла не осознавать этого и не терзаться затем, не мучиться теми мучениями, в которых он никогда и никому не признавался и не выказывал их.

Власть победителя — власть страшная, если она лишена великодушия. Неделя в городе не прекращалась разбой и грабежи, и все эти ужасающие дни бесчинств и беззаконий, утоляя жажду величия, Иоанн пировал, обосновавшись в воеводских хоробах; он, казалось, и засыпал, и просыпался при одной и той же картине бесконечного, ничем не прерывавшегося застолья, что, разумеется, было для него не ново и поддерживалось теперь не только любимцами московскими — князьями Вяземским, Салтыковым, боярами Алексеем и Федором Басмановыми, Чепотовым, Грязным, Малютой Скуратовым-Бельским, — к лицам (и проделкам) которых он уже попривык, но и холопьями иноплеменными, то есть вельможами, коих он лишь перед походом успел приблизить к себе, особенно князьями черкесскими и ногайскими. Иоанн хвалил сих князей за усердие и храбрость, одаривая своей царской благосклонностью и, может быть, в эти минуты и в самом деле был искренен перед ними, потому что, делясь славой с ними, знал, не уменьшал, а увеличивал ее для себя. В городе между тем ни на час не прерывались истязания, одних — несчастных — гнали к церквям, других, не желавших принимать чужой веры, волокли к Двине, чтобы топить в ней, и хотя

Иоанн, не раз уже (за время Казанского похода) слышавший подобные стенания и знавший, как он считал, цену им, — «Все от Бога, и пастыри, и овцы, и — каждому свое!» — был как будто спокоен и не замечал их, но на исходе недели крики и стоны отчаявшихся все же начали по ночам доносить его, он со свечой в руке подходил к окну и затем звал духовника. И пусть хоть малой, хоть незаметной вроде бы складкой, но все же залегла в памяти и эта незначительная будто (в размахе общих дел) подробность, которой со временем еще только предстоит обобщиться и проявить себя, но будущее было отделено от Иоанна и не беспокоило его; увенчав, в упоении славой, свой успех благодарственным в Софийском Полоцком храме молебном и посадив в сем опустошенном городе воеводой князя Петра Шуйского, он вместе с войском и обоими награбленного добра, надеясь упредить весеннюю распутицу, двинулся к Москве.

Но упредить распутицу не удалось, реки вскрылись, дороги размякли, и уже от Великих Лук, распустив войско и оставив обозы на попечение воевод, Иоанн с отрядом лишь самых преданных ему людей продолжил путь. Он спешил, подгоняемый каким-то радостным будто, как казалось тогда, и вместе с тем странным, как представлялось теперь, предчувствием, словно боялся, что не доведет, не успеет довести до Москвы, до царицы э т о свое обновленное к ней отношение, какого жаждал, отправляясь в поход, и какое невиданным, а главное, быстрым успехом было ниспослано ему будто бы самим обликом царицы, этой хрупкой (с осиной талией), привезенной по обычаю предков, искавших жен в азиатских степях, из далеких восточных краев. Он не то чтобы верил, но точно — в той сумасшедшей конной гонке — знал, что и это второе супружество его, как и первое, когда из сотен сведенных в Кремль невест выбрал Анастасию, было счастливым; современники отмечали, что как и в гневе, так и в ликовании Иоанн был беспределен и не терпел на себе никаких оков; тем более когда бывал в радости, и, кто знает, чем бы обернулось его царствование, окажись рядом с ним действительно тот идеал женщины, какой он искал; и, может, оттого и гнал лошадей, и спешил, не останавливаясь ни в городах, ни в монастырях и огорчая гостеприимных хозяев, что что-то в совершавшемся все же казалось зыбким, неустоявшимся, требовавшим немедленных уточнений. Меня могут упрекнуть, что столь грозное государственное лицо, исполнившее столь важное государственное дело (восстановление целостности России, как трактуют историки), я готов опустить до семейных интриг, то есть чуть ли не до простолоудина; что ж, могу сказать, что там, где есть возвышенное, всегда есть и приземленное; и приземленного даже больше, чем возвышенного, потому что как раз в этом приземленном и бывает скрыта та главная пружина, от которой исходит движение. Как монарх, самодержец, Иоанн объясним и понятен (во всяком случае, с высоты эпохи и в трактовках историков); но как человек со всеми его желаниями и страстями — как человек он вызывает куда

большой интерес, по крайней мере у меня, и я не могу представить себе Иоанна иным, чем только в этом счастливом опьянении, в каком, перемены лошадей и загоняя их, он мчался к царице, чтобы обнять ее.

О победе его были уже осведомлены в столице, духовенство и бояре, подняв народ и холопей, готовили торжественную встречу. Митрополит Макарий, получив письменное от Иоанна извещение, что «исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе Москве, что вздут руки его на плечи врагов его: Бог неслезанную свою милость излил на нас, недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал», — митрополит Макарий, готовившийся уже от старости и болезней покинуть сей неприветливый, содомский (в бесконечной борьбе, даже между духовенством за сан Первосвященителя) мир, на время словно воспрянул, польщенный сим личным посланием, и усердствовал особенно, стараясь приравнять успех этого похода с успехом Казанского и тем возвеличить подвиг Иоанна. Первой на подступах к Москве, в Старице — уделе своего сына, князя Владимира Андреевича, тоже участвовавшего в походе и возвращавшегося теперь с царем, приняла его Ефросинья; царевич Иоанн, как отмечают летописцы, в тот же день, к вечеру, ожидал своего отца-победителя в обители святого Иосифа, а другой царевич, Федор — в селе Крылацком. «Тут был новый пир», как сообщают все те же летописцы, всю ночь длилось веселье, пили, ели, славя русское воинство и похваляясь всякою доблестью, и возбужденный Иоанн, хотя ему только на час перед самым уже рассветом удалось вздремнуть, — едва занялось утро, был уже на ногах. Ему оседлали и подвели коня — того самого, на котором он победоносно въезжал в Полоцк; сопровождавшие его воеводы, бояре и ратники были уже в походном строю перед крыльцом; окинув их взглядом, окинув взглядом коня и подбадривающе похлопав его по теплой, заслоненной гривой шее, он с легкостью, как будто и в самом деле не было ни бессонной ночи, ни усталости (ведь какие уже сутки, и все — верхом, верхом) вскочил в седло и, отбрасывая (словно бы от себя) комки грязи, летевшие из-под конских копыт, сначала мелким еще, еще будто игривым наметом выехал из монастырских ворот.

* * *

Он ехал Крылацким (по названию села) полем, чтобы спрямить дорогу. Вокруг все было схвачено мартовским морозцем, прозрачный ледок похрустывал под ногами лошадей, а когда втягивались в полосу не растаявшего еще, а лишь осевшего (под напором весны), слежалого снега, кавалькада словно вдруг тяжелела, притушовывала бег, кони храпели и разбрасывали пену. Но Иоанн был неустойчивым, его не останавливало ничто; нерасплесканным, целостным и еще сильнее будто окрепшим он нес в себе то возникшее в Полоцке, на площади, перед собором, чувство к Марии и, трудно сказать, встречный ли ветер, овевая лицо, пел и рез-

вился в складках его одежды, или пела и резвилась его молодая, — тридцать лет, да возраст ли это! — удачливая душа. Он был неизвестен в своем порыве и устремленности, и окружение, поспешавшее за ним, в котором были и князь Владимир Андреевич, и князь Афанасий Вяземский, и все остальные новые и новейшие любимцы вместе с царями и царевичами казанскими Александром, Симеоном, Ибеком, Тохтамышем, Бекбулатом и Кайбулой, — окружение, поспешавшее за ним, лишь удивленно переглядывалось, далекое от мыслей и чувств самодержца и не понимая его. Как и нам, наверное, человеческое в царе должно было представляться им немислимым, как будто в простоте чувств действительно заложено что-то не то, чтобы недоступное, но принижающее для высоких особ; но ничего принижающего достоинство в Иоанне не было, он всего лишь позволял себе быть естественным, и чистота чувств, и чистота мыслей (когда отброшено все наносное, дурное, отягчающее нас) делали его в эти мгновения прекрасным, добрым и сильным.

Впереди, захватывая во всю ширь небо и землю, разливалось по горизонту утро; оно вставало ясным и с теми весенними уже запахами и красками, которые, сливаясь с общим настроением Иоанна, как раз и вызвали в нем то сознание красоты и гармонии мира (так редко теперь, к сожалению, посещающими нас), когда на меже духовного и материального, где обычно сталкиваются желания и возможности, возникает не борьба, не разочарование, а единство, песенно соединяющее в нас представления о жизни и жизнь. Ни прежде, ни потом Иоанну уже не приходилось испытывать подобного чувства; сделав неверный шаг и увязнув одной ногой в трясине, непременно увязнешь и другой, а затем по бедра, по грудь, по шею, и лишь в преддверии небытия память раскручивает содеянное и проясняет дороги, по которым следовало пойти, но о которых, когда они открывались в действительности, не хотелось и слышать; чувства, охватившие теперь Иоанна, несомненно (если бы он доверился им), открыли бы перед ним совсем иную, чем та, какую прошел, дорогу; но в том-то и заключен драматизм человеческого бытия (выраженный в пословице: знал бы, где упадешь, соломки бы постелил), что в момент решений вдруг словно бы исчезает всякое представление о прошлом и будущем, и остается (и действует) только тот сиюминутный интерес — славы, власти, богатства и почестей (для каждого на своем уровне и несопоставимое с мерами справедливости и добра), — который и приводит к заблуждениям и ошибкам. Ложь не в природе, ложь — в людях; и нет ничего страшнее, чем когда она подается в обличье правды. Но что было Иоанну до сей философии, в которой, кстати, можно обнаружить и свои недочеты, и ущербность; в нем дышала естественность жизни, и не столько земли, возвращенные им России (и победа над Сигизмундом), сколько простор для любви, добытый в этом походе, вызывали в нем не сдерживаемое ничем ликование, и он мчался по этому простору и на коне, то есть физически, ощущая всем телом напряжение и галоп лошади, и мысленно, устремляясь страстями вперед,

окрылявшими его. Потому, может, и был столь нетерпелив к боярину Траханиотову, посланному сообщить ему о рождении сына Василия, и, не слезая с коня и горячася вместе с конем, рвавшим удила, кричал на коленопреклоненного вестового: «Говори! Ну говори же!» Скорее догадавшись (по предчувствию), чем поняв со слов боярина, о чем весть, по-разбойничьи дико гикнул (что было тогда внове для него и для всех, но что затем войдет в привычку и будет повторяться в обстоятельствах уже иных и как сигнал к действию), огрел коня плетью и — не успели сопровождавшие уяснить, что произошло, как он уже неся по полю, взрывая подтаявшую землю и снег; князья, цари и царевичи вслед за ним бросили своих лошадей в намет, и лишь боярин-посланец Траханиотов, не успевших еще подняться с колен (и с лицом, заляпанным ошметьями перемешанного с землей снега), обернувшись, удивленно смотрел на удалявшуюся от него кавалькаду.

Панорама Москвы, в каком бы столетии и кто бы из россиян ни подъезжал к сей златоглавой столице, всегда вызывала одно и то же, может быть, несколько странное (по понятиям иноязычных), но, может, вовсе и не странное, а вполне объяснимое чувство исторического родства и близости ко всему, что было и будет в ней, к ее Кремлю, каменным, но больше (по тем временам) деревянным домам, дворцам, монастырям, ее церквям, соборам и колокольням, с которых на десятки верст вокруг разносится утренний благовест; частью из белого камня, частью просто беленные известью церкви и соборы как раз и создавали впечатление белокаменной, и Иоанн, как ни торопился теперь, все же хоть на мгновенье, но придержал коня, когда из не растворенного еще солнцем голубоватого марева утра, словно из морских глубин, вырос и открылся глазам сей державный град. Он был необыкновенно прекрасен, игравший позолотою куполов и манивший дымком, поднимавшимся из печных труб — столбами (при безветрии и морозце), редая и обесцвечиваясь в ясной высоте неба; и в центре этой неохватной живой картины, как шнуры, стягивая к себе дороги, величественной чашею возвышался Кремль. К нему с одной стороны, с той, с которой подъезжал Иоанн, примыкали улицы и улочки Арбата с торговым рядом, церковью Бориса и Глеба и площадью перед ней, на которую, оповещенный о прибытии царя, уже начал стекаться московский люд, с другой — видна была стена Китай-города — Охотный ряд, Зарядье с разбросанными, как медь по земле, часовенками, и дальше по Москве-реке и Яузе — дома, лавки, кожевенные и гончарные мастерские и опять дома, лавки, объединенные своей беспросветной нищетой словно бы в лоскутное одеяло. Но Иоанн не замечал этой разноликости и не выхватывал из общего целого те или иные (по социальной обустроенности) островки жизни; перед ним было то, что принадлежало ему — с худым и добрым, богатым и бедным, были дарованные богом народ и держава, и в том состоянии влюбленности и успеха, в каком он пребывал, он ни на минуту не колебался ни в правоте своих деяний, которыми приносил только

блага себе и державе, ни в правоте замыслов, коими еще более, как полагал, мог осчастливить народ. Лишь на какую-то долю секунды лицо его вдруг будто затуманилось, он вспомнил, как горела Москва в год его венчания на царство. Укрывшись тогда в Воробьеве (и не только от стихии огня, но и от волнений и бесчинств, учинявшихся обезумевшим людом), он вместе с молодой женой, Анастасией, смотрел из дворца на сияющее зрелище.

Москва, к слову сказать, строившаяся с топора, не раз сгорала до тла за свою многовековую историю. Но этот пожар, о котором вспомнил и подумал Иоанн, был особенным, «великим», как тогда же его нарекли в народе. Он принес неисчислимые бедствия, сгорело множество людей, лавок с богатыми товарами, гостиных казенных дворов и монастырских строений. Свидетели тех событий отмечают, что приступал он к городу двумя этапами, двумя волнами. Первая волна огня прокатилась в апреле и, захватив Богоявленскую обитель, превратила в пепел все, что лежало за Яузой, обездолив гончаров и кожевников. Тогда же огнем поглощены были целые кварталы домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки, взлетели на воздух башня с порохом и часть городской стены, запрудив кирпичом реку, а затем, в середине июня, «около полудни, в страшную бурю, начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице, с церкви Воздвижения; огонь лился рекою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай и Большой посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь; богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма; силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке, он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь...» Я не случайно привел здесь столь пространное документальное свидетельство: во-первых, для достоверности, потому что речь идет о событии историческом, в котором непростительно было бы что-либо исказить или преувеличить, пусть даже ради художественной правды, правды искусства, и во-вторых, чтобы понять замешательство Иоанна. Кроме картины внешней, с живостью красок представшей сейчас перед ним, было в этом ужасающем бедствии и нечто более важное для него. Обезжая на другой день после пожара Кремль, он услышал, как за спиной, с паперти обгорелой церкви, какой-то калека-богомалец крикнул, что «явилось знамение», что это молодой царь обнажил меч на народ, и что все, все теперь будет гореть в огне и тонуть в крови. Богомольца заставили замолчать, и хотя никто затем ни при царе, ни без него не осмеливался упоминать об этом случае, но, не лишенный суеверия Иоанн не раз мыс-

ленно возвращался к этому зловещему предсказанию. Каким-то будто неосознанным, страшным прикосновением то зловещее притронулось к нему теперь; он даже оглянулся — не заметил ли кто движения его мыслей, и чтобы не загружаться сим тяжелым и ненужным для него сейчас воспоминанием, отпустил поводья коню, подтанцовывавшему под ним, и направил его вниз по склону горы к переправе.

* * *

Во всяком деле (в том числе и в событиях исторических) есть то, что зримо, и что не зримо, вернее, сторона внешняя, которую всегда можно воспроизвести в движениях, красках и лицах, и то, что скрыто от глаз и составляет мир чувств, желаний и мыслей, о которых можно лишь предположить, что они есть и руководят человеком, но в то же время остаются за гранью видимости и вызывают в столетиях никогда не прекращающиеся суды и пересуды. Спешившись на пароме, Иоанн затем, когда паром причалил к противоположному (пологовому) берегу, вновь сел на коня и мелким, игривым, парадным или плац-парадным, как можно было бы уточнить, аллюром двинулся к церкви Бориса и Глеба, где на площади, в скоплении разнообразнейшего московского люда знатное духовенство и бояре с хоругвями, иконами и крестами ожидали его. Несмотря, как уже говорилось, на многонедельную гонку — на конях верхом, и, несмотря на бессонную почти ночь, проведенную в Крылацком за питием, едой и разговорами Иоанн не то, чтобы казался (в глазах жадно смотревшей на него толпы), но и на самом деле выглядел полным сил, веселым и бодрым; молодцеватая осанка его кричала о молодости, царские облачения и доспехи — о воинственности и силе, что, как и всегда-то, могло настраивать лишь на безоглядный патриотизм; хотя, сняв шапки, народ только крестился и кланялся при виде приближавшегося царя, но за молчаливыми этими поклонами и полными восхищения и восторга взглядами, словно заряд, готовый огласить взрывом округу, таилось безудержное, не подкрепленное ничем, кроме корысти монаршей, выдаваемой за общее, государственное благо ликование.

У всякого народа, разумеется, есть в истории свои великие и малые торжества, и мне не хотелось бы теперь, оглядываясь на столь отдаленное от нас прошлое, хоть чем-либо омрачать то победное ликование, самою приподнятою той минуты, какую переживали собравшиеся на площади, перед церковью, русские люди. Мы осуждаем эгоизм личности, но приходило ли нам когда-нибудь в голову, что есть еще эгоизм толпы, народа, наконец, монарший или державный, и что — не в сражениях ли, не в убийствах ли людьми одними людей других и не в разрушениях ли налаженной (и каждому дорогой для себя) жизни скрыта вся его неопишимо зловещая суть? Римляне ликовали, когда сравнивали с землей Карфаген — чему? Чему рукоплескала Великая Греция, ко-

гда Александр Македонский, завоевывая Азию и отсылая дары, сеял вокруг себя только разрушения и смерть, ломая судьбы и жизнь народов и государств? Что приобрели и что потеряли, если брать в историческом плане, все те аплодировавшие и ликовавшие народы? Разве что — весьма сомнительную, хотя и записанную на скрижалях истории память о «великих» и «славных» походах? То, что Иоанн готов был, как дар, бросить теперь к ногам духовенства, бояр и народа (более — к ногам царицы, что было важнее для него), было, по существу, даром сомнительным. За победой, которую он одержал, и которая одна, казалось, только и могла восприниматься народом, стоял разрушенный, опустошенный и разграбленный Полоцк. Он весь был в развалинах, повсюду на пепелищах виднелись трупы, которые некому было предавать земле. Берега Двины, словно бревнами, были завалены утопленниками, вынесенными волной на отмели, а в уцелевших домах, церквах, монастырях раздавались лишь плач и стоны. Но перед глазами народа, собравшегося встретить Иоанна, представала не эта картина смертей, ужасов и страданий, а другая — торжественно, с победой въезжавший в столицу царь. Он был красив, могуществен и недосыгаем, конь гарцевал под ним, соединяясь с торжественностью минуты, и от этого наполненного будто бы божественным смыслом великолепия все вокруг тоже наполнялось и дышало исторической, как и должно воспринимать ее, но, в сущности, пустой, бессмысленной, ложной гордостью, от которой как до патриотизма, так и до эгоизма — государственного, и потому страшного — один шаг.

Как только Иоанн въехал на площадь, он спешился и, слегка поклонившись (на три стороны) перед народом, двинулся к ожидавшим его царице, духовенству и боярам, сгрудившимся перед церковью Бориса и Глеба и праздничным своим благолепием заслонявшим ее. Ветер с Москвы-реки шевелил развернутыми хоругвями, клонил долу кресты, иконы, забрасывал за плечи длинные седые бороды святителей и бояр. Вот-вот должна была наступить развязка, и перед этой вершиной торжества все, казалось, еще больше притихло в напряжении; и в этой тишине, вдруг (и тем неожиданней для Иоанна и всех) — раздался сперва одиночный и звонкий, болью отдавшийся в ушах удар колокола. Иоанн вздрогнул и едва успел взглянуть поверх голов святителей и бояр на колокольню, как оттуда донесся второй, третий, и затем, словно решив поддержать сии торжествующие звуки, ударили на колокольнях соседних церквей, в Кремле, по всей Москве, и под этот величественный благовест, приподнимавший и без того приподнятую душу, Иоанн продолжал пересекать площадь, вглядываясь в толпу своих придворных вельмож, и отыскивать среди них царицу. За ним, оттянувшись на сажень, вели его коня, понуро клонившего теперь голову книзу, словно желавшего замести гривой хозяйский след и уже за конем, тоже спешившись, как и царь, двигалась свита.

Оттого ли, что так было задумано, или потому, что у митрополита Макария, возбужденного событием, не хватило терпения, — словно крест-

ным пасхальным ходом вокруг церкви, встав впереди святителей и бояр (и с царицей, окруженную вельможными мамками и няньками), он двинулся навстречу Иоанну. Сойдясь, потоки остановились, пережидая (в торжественном противостоянии) все еще разливавшийся над площадью благовест; когда же колокола смолкли (на ближайших колокольнях, тогда как по Москве долго еще, напоминая перекличку, слышался их приветственный перезвон), митрополит по-церковному напевно, велеречиво, но не столь, может быть, твердым и могучим (по преклонности лет), как прежде, голосом произнес здравицу в честь царя-победителя, поблагодарив его от народа и церкви за великие ратные труды и подвиги во славу державы. Иоанн ответно воздал хвалу митрополиту и святителям за их «усердные молитвы», кои были услышаны и возымели действие, и только лишь после этого протокольного, как мы бы сказали теперь, обмена речами, вперед была выдвинута царица с новорожденным сыном Василием, которого в шитых золотой нитью царских распашонках, простынях и одеяльце держала на руках. Иоанн двинулся было к ней, но тут же остановился; на глазах у толпы, еще более жадно сейчас смотревшей на него, негоже было ему опускаться до простолудинских слабостей; простое, человеческое проявление жизни — да совместимо ли оно с высотой государственных дел? Лицо его слегка налилось гневом — от беспомощности, в какой он вдруг ощутил себя; но, поборов раздражение (он тогда еще был способен управлять собой), Иоанн еще несколько мгновений продолжал молча смотреть на царицу, маленький в руках ее сверток, который она готова была протянуть ему, и за эти мгновения, несомненно (во временном отношении), показавшиеся ему куда длиннее, чем весь многонедельный, только что проделанный от Полоцка до Москвы путь — все верхом, верхом на конях! — за эти короткие мгновения успел передумать и пережить целую жизнь.

То, что только что представлялось Иоанну завершенным и целостным, его обновленное чувство к Марии, — и что он, боясь расплескать по дороге, так бережно (в своем сердце) вез ей, на самом деле не было ни завершенным; ни целостным; вглядываясь в царицу, он опять невольно принялся искать в выражении ее лица, глаз то, что с первого же, казалось, дня, как только увидел, искал в ней. Ему необходимо было ответное чувство, которое принесло бы покой и удовлетворение, и, сделай царица сейчас любое приветливое движение, он нашел бы, как истолковать его. Но он не видел этого движения; царица после родов была еще неокрепшей, сырой, как говорят в народе, прежде смуглое лицо ее выглядело бледным, неподвижным, отдавало холодностью и не следы радости материнства, которые (может быть, по восточному обычаю) она и старалась стыдливо скрыть в себе, а следы мук, перенесенных ею, — этих известных (при родах) женских мук, словно бы в укор выставленных теперь супругу, были заметны на ней и смущали Иоанна. Видя и понимая их значение, он в то же время не хотел и не мог объяснить их; чувства его и чувства царицы не совпадали, он нахмуренно сверлил ее

глазами и только еще сильнее заставлял пугаться и леденеть душой; и, кто знает, чем бы все завершилось, если бы первосвященник Макарий не предложил ему взять младенца, прежде открыв и показав царю маленькое сморщенное личико будущего престолонаследника. И общий ли вид младенца, ощущение ли его живого (сквозь толщу одеяла и простыней) тельца, вызвавшее прилив отцовского удовлетворения и доброты, или та жалкая (болезненная) улыбка, какою хотя и на миг, но все же озарило лицо царицы, но — Иоанн уже не колебался; держа наследника на руках, он медленно, подчиняясь торжественности минуты и сливаясь с ней, направился от Арбата к Кремлю, сопровождаемый царицей, духовенством, боярами и народом — ликовавшим, как если бы событие это действительно принесло или могло принести ему блага, и по всем церквам опять, пока длилось шествие, гремел благовест.

* * *

Всю следующую неделю от воскресенья до воскресенья в церквях и соборах служили благодарственные молебны, в Кремле, в сводчатых палатах дворца не смолкали торжества, Иоанн был весел и со щедростью, присущей монарху, одаривал героев похода — воевод, бояр, князей, царей и царевичей казанских, невольно и еще более милостью этой приближая их к себе. Среди придворных же, как и должно, намечались новые перестановки, завязывались интриги, то есть подолжалась все та же извечная, не знающая пощады борьба (за мнимое, если не сказать больше, первенство между государственными мужами), какая и во все-то времена и при любых правителях ведется вокруг (или у подножия) тронов. Но Иоанн не воспринимал пока ни наветов, ни оговоров; занятый собой и своим отношением к царице и новорожденному сыну Василию, он не выходил почти из детских покоев; вновь, как при Анастасии, даровавшей ему сыновей, он испытывал то счастливое чувство отцовства, которым (по крайней мере в те дни, когда происходило все) заслонены были перед ним все государственные и иные дела державы. Это отцовское чувство передавалось Марии, душа ее словно раскрывалась, светлела, и в глазах начали появляться те огоньки любви и жизни, которые как раз и желал увидеть и видел теперь в ней Иоанн. По правую руку от себя он неизменно усаживал князей черкесских, родственников и родичей царицы, вызывая тем недовольство родни прежней, по Анастасии, Захарыных, чей клан был еще влиятелен и многочислен, недовольство зрело и у князей Мстиславских и Шуйских, которых, как им казалось, оттесняли от трона, но и к этим недовольствам Иоанн оставался глух, потому что — что было выше того счастья, какое испытывал он, когда, входя в детскую, заставал Марию склоненной над сыном. Ему казалось, что он чувствовал и понимал ее так же, как чувствовал и понимал себя, и смотрел на нее с нежностью; немножко еще черкешенка, но уже достаточно русская, Мария и в самом деле являла собой тот идеал,

который и был желателен Иоанну и что-то будто нетронутое, доброе пробуждал в нем.

Но как ни велико было счастье, испытываемое Иоанном, время от времени на него все же вдруг находили сомнения, и он начинал беспокоиться, как если бы действительно что-то нехорошее, неотвратимое и готовое вот-вот совершиться подстерегало его. Он то относил это беспокойство к делам державы, к взаимоотношениям своим с князьями и боярами, претендовавшими (по знатности родословных) на влияние и вес, то к духовенству, которое заступничеством за опальных не давало ему править, как он хотел, то к делам семейным, в коих тоже — не все было так благополучно, как это казалось на первый взгляд. Маленький Василий, несмотря на старания всех, кто ухаживал за ним, выглядел болезненным, плохо ел, спал и развивался, и Иоанн, успевший уже привязаться к сыну, сначала лишь недоумевал, надеясь, что все обойдется, призывал лекарей, обещая им награды, но затем, увидев, что улучшения не наступает, помрачнел, притих, и семейный вопрос, только что, казалось, так благополучно (по взятии Полоцка) разрешившийся для него, теперь вновь и обостренное возник перед ним. Может быть, если бы он поделился с кем-либо своими сомнениями и без предвзятости посмотрел на царицу, сына и происходившее с ними и вокруг них, многое предстало бы по-иному и прояснилось для него; но как большинством сильных или по крайней мере мнящих себя сильными людей, Иоанн переживал молча, доверяясь лишь своим посылам и выводам и вызывая у окружающих то ложное (о своих сомнениях) представление, вернее, ту ложную озабоченность, от которой только сильнее запутывалось и осложнялось все. В то время как от больного отстранялись лекари, все явственнее начинали активизироваться отцы церкви. Они находили, что болезнь царевича не физического, а нравственного свойства, что тут подается **н а к Б о ж и й**, и спасение следует искать только в поклонении святым мощам, бдениях и молитвах. За кем-то из родителей значилось прегрешение, и так как Иоанн не мог, как это представлялось всем, хоть в чем-либо быть запятнан, взоры были обращены на царицу, которая, дескать, не до конца, не сердцем приняла православие. Сказать об этом Иоанну прямо никто не решался, но намеками давали понять, в чем скрывалась причина, и в соборах Благовещения и Успения проведенные были торжественные (по обелению царицы) службы; соответствующие службы были затем проведены и в других по Москве церквях и соборах, а когда и это не помогло, святители с митрополитом явились к Иоанну и предложили ему вместе с царицей и сыном-младенцем съездить на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь. Обитель та славилась особым благочестием, и церковные иерархи были убеждены, что поклонение мощам святого Кирилла и молитвы возымеют действие, и недуг отступится от царского чада.

Но Иоанн не сразу решился на подобное путешествие. Уединившись в покоях, где можно было в безлюдье поразмыслить над сим важ-

нейшим для себя и державы вопросом, он просидел там дотемна, пока не вошли зажечь свечи, но и при свечах продолжал оставаться все в той же удивленной неподвижности (как при прозрениях, когда в сложных нагромождениях жизни вдруг открывается очевидная и доступная разуму простота), в какой ни прежде, ни потом никто из князей и бояр не видел Иоанна. С ним словно повторялось то, что уже было, и он лишь вступал теперь на тот второй круг жизни, на котором все-все было до мелочей известно ему. Вот также с первенцем Анастасии Великим Князем Дмитрием в холодную весеннюю пору он отправился на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь и потерял сына: царевич в дороге простудился, заболел и умер. Иоанн помнил, как отпевали Дмитрия в сырой темной монастырской церквушке (было это уже где-то далеко за Тверью), как затем везли гробик с тельцем и предавали земле (с царскими, разумеется, почестями) в Москве, в каком отчаянии была Анастасия, да и сам он, и народ, как ему казалось тогда, облаченный в траур и ливший слезы по безвременно-ушедшему в мир иной nasledнику; и хотя после этого неизбежного как будто бы горя (но, может быть, и во искупление его) явилось светлое десятилетие: Анастасия родила сыновей Ивана и Федора, и дочь Евдокию, да и в делах державы всюду сопутствовала Иоанну удача, но — соизмерима ли была цена счастьем, и стоило ли вновь точно такой же ценой добывать его? Иоанн колебался: ему страшно было представить, что и первенец Марии не вынесет поездки и скончается по дороге, страшно было обречь Марию на страдания, какие, он видел, как перенесла их Анастасия, и, готовый воспротивиться року, старался найти (в этой открывшейся будто бы ясности) то, что позволило бы избежать повторения.

Да и так ли уж совпадали события, как это (по большому счету) представлялось Иоанну? Во-первых, десять с лишним лет назад он отправился на моление не по совету святителей, а выполнял лишь обет, данный во время своей тяжелой болезни, когда, вернувшись из триумфального Казанского похода, казалось, лежал на смертном одре. и во-вторых, если говорить об исторической значимости той поездки, что осознавалось тогда уже многими современниками, и чего не мог не учитывать Иоанн, то по своим последствиям она имела куда большее значение для судьбы державы, чем только смерть и похороны малолетнего Великого Князя Дмитрия. По пути Иоанн посетил в кельях двух великих для своего времени (каждый по-своему) старцев: Максима Грека, доживавшего последние свои дни в одном из монастырей близ Твери, и Вассиана Топоркова, инока Иосифова Волоколамского обители, и разговор с ними (к которому по ходу повествования еще не раз, видимо, придется обращаться), особенно с Вассианом, оставили в душе Иоанна свой глубочайший и невытравимый след. Максим Грек был деятелем прозападных, как мы бы определили теперь, взглядов, выступал за реформизм и послабления не только в делах церковных, но и государственных и числился в еретиках, тогда как Вассиан Топорков, ученик Ио-

сифа Волоцкого, главного и последовательного гонителя еретиков,— Вассиан, пользовавшийся милостями Великого Князя Василия, отца Иоаннова, был ревностным сторонником старины и выступал за неизблемость так называемых русских устоев, утверждавших единство и неизблемость власти церковной и светской (что как раз и должно было импонировать Иоанну), и хотя оба эти старца стояли уже на краю могилы, и пора было им более думать о душе, нежели о делах земных, оставаемых ими, но, таков уж, наверное, удел сильных личностей — словно бы обернувшись у последней черты, они надеялись еще повлиять на ход развивавшихся событий. Что касается Иоанна, то он вполне мог бы удовлетвориться той исторической встречей, открывшей ему (с двух сторон) возможности и секреты власти; но державное, определившись, войдя в повседневность, разумелось уже само собой, тогда как личное, относившееся к похоронам сына, переживаниям Анастасии и своим далеко еще не стершимся в памяти, — личное продолжало держать Иоанна в напряжении и беспокоить его.

* * *

Ночью он несколько раз входил в детскую, останавливался у постели больного, затем молча присаживался возле Марии, согрел в ладонях ее стынувшие пальцы и вновь удалялся к себе и во все это время (да как и всегда, впрочем) два противостоящих начала терзали его: разумное, подсказывавшее, что ехать нельзя, что младенец не выдержит дороги и скончается, и суеверный страх перед послушанием (в данном случае, послушанием святителей), за которым тоже неминуемо последует кара. Ему не нужно было доказательств, чтобы убедиться в верности этого суждения, перед ним был более, чем пример, когда, не вняв предупреждению, вернее, пророчеству Максима Грека, он настоял на своем, поехал и потерял сына; и хотя послушание теперешнее означало — не ехать, то есть было более разумным даже по простым житейским понятиям, но страх перед послушанием, за которым, как тень, злоеще проглядывала расплата, — страх этот в конце концов возымел верх над разумным, и, промучившись в уединении и бездеятельности еще сутки, Иоанн пришел к заключению, что не поехать нельзя, нельзя не внять божьему гласу, и велел пригласить к себе духовников и митрополита.

Разговор с ними был краток. Объявив о своем решении, Иоанн тут же повелел собираться в дорогу, и во второй половине дня сразу после службы и благословения в церкви Успения царский обоз, наскоро составленный и сопровождаемый конными ратниками, выехал из Москвы на Дмитров. Путь и в самом деле предстоял долгий и нелегкий: сначала — по раскисшим проселкам до Песнопского Николаевского монастыря, где предполагалось задержаться на день, другой, отдохнуть и поклониться местным угодникам (в первую очередь, Вассиану Топоркову, да-да, тому самому Вассиану, гонителю Максима Грека, навечно успоко-

ившемуся, наконец, в стенах сей «прославившейся» теперь именем и делами его обители), потом, пересев на суда, реками Яхромой, Дубной, Волгой, Шексной прибыть в монастырь святого Кирилла. Иоанн ехал в повозке вместе с царицей (больного царевича, укутанного в простынки и одеяльца, везли отдельно), и пока преодолевали первые версты, вернее, пока дорога, как и все вблизи столицы, была более-менее сносной, колеса не увязали по ступицы, лошади не рвали постромки, и повозку не швыряло из стороны в сторону, на душе у Иоанна, казалось, все было спокойно, он был весел, внимателен и предупредителен к Марии; надо сказать, определенность всегда успокаивает людей, особенно неуравновешенных, каким был теперешний самодержец России; несдержанный, не признававший преград своим страстям и желаниям, он вместе с тем панически боялся кары Божьей, Божьего возмездия, и этой несовместимостью сил, изначально как будто бы заложенных в нем, пожалуй, вернее всего можно объяснить характер Иоанна. Стремление освободиться то от одной, то от другой довлеющей силы как раз и бросало его в еще более цепкие их объятия и истощало физически и духовно. Начиналось же все обычно с мелочей, с самых простых иногда житейских неудобств, кои, увы, встречаются и у царей, и первым таким неудобством, вызвавшим раздражение, а затем беспокойство, явилась переправа через речушку, мост через которую был снесен в половодье, а спуск к броду да и сам брод до того круты и разбиты колесами, что не только кучерам и холопам, но и ратникам пришлось по пояс входить в холодную воду и подталкивать повозки, помогая лошадям вытянуть их. Притомленные кони то и дело останавливались, крупы их были взмокшими, в ключьях пены, и словно бы в довершение сего испытания небо вдруг набухло тучами, налетел ветер, разодрав и сдернув с повозок чехлы, полоснула молния, и над всей от горизонта до горизонта весенней степью запылаха, загремела одна из тех коротких российских гроз, сопровождаемых ливнями, от которых, кажется, некуда бывает укрыться ни зверю, ни человеку.

Стихию пережидали, сбившись в круг — повозками, конями, людьми, а когда ливень стих, промокшие и продрогшие, свернули к первой попавшейся по дороге небольшой обители и остановились в ней, чтобы обсушиться, согреться и переночевать. Монахи были стеснены, келий не хватало, царской чете отведена была трапезная, а больной царевич помещен в покоях настоятеля. Как прошла ночь для царевича, для других, ехавших с обозом, Иоанн не знал; то ли от вина, которое дали ему выпить, чтобы согреться, то ли от усталости или спокойствия, которое вернулось к нему оттого, что он как бы вновь ощутил себя под покровительством Бога, — сразу же после еды и питья заснул (впервые за мучительную неделю) глубоким безмятежным сном. Утром разбудили его сообщением, что скончался царевич — тихо, будто бы без крика, слез и метаний, а с божьей умиротворенностью (что как раз и должно было служить утешением для Иоанна). Поняв с полуслова, о чем речь, будто

только и ждал этого (но ведь и на самом деле — ждал!), он вместе с тем жестким, неверящим взглядом обвел духовников, покорно припавших перед ним; потом одевшись, и сопровождаемый ими, направился в палаты настоятеля, где на одре лежало омытое, приготовленное к отпеванию тельце младенца, и где полно было уже и дворцовой дворни, и монахов в их однотипных серых одеяниях, и пахло хвоей и ладаном. Запах этот, памятный еще с похорон Дмитрия, словно ударом в лицо заставил Иоанна остановиться, и точно так же, как он только что тяжелым, неверящим взглядом смотрел на духовников, посмотрел теперь на тельце покойного, траурно накрытое покрывалом, на царицу Марию, склоненную, в черном, стоявшую перед ним, на скорбные лица челяди (вельможной, разумеется, которая только и могла быть допущена сюда) и монахов, пробежав, как по орнаменту, по их изрезанным, клиновидным бородкам и длинным, нестриженным волосам, подхваченным надбровными повязками, должными будто бы сближать их облик с обликом Иисуса. На груди у младенца, зажатая в похолодевших крохотных пальчиках, горела свеча, озарявшая всех вздрагивающим светом, особенно, обескровленное и заострившееся за ночь лицо царицы; в таком состоянии Иоанн еще никогда не видел Марии, и ни в самую минуту происходившего, ни позднее, когда вспоминал, не мог с точностью определить, что сильнее поразило и озадачило его, вид ли умершего царевича или вид царицы, о которой только и уместно было сказать, что краше кладут в гроб.

Иоанн подошел к царице и встал рядом с ней. Теперь он не смотрел на нее, а лишь чувствовал ее истощенную, страдавшую плоть, то есть, сказать иначе, ее душевную опустошенность, не дававшую ей даже плакать, и худобу, делавшую ее еще более болезненной и хрупкой; но в то время как Марию он только чувствовал, худое, посиневшее, мертвое личико сына и столь же обескровленные ручонки и пальчики, державшие непомерно большую (по ним) горевшую восковую свечу, — все это было перед глазами, и как ни пытался Иоанн отогнать от себя ту мысль, которая еще до поездки начала беспокоить его, что болезненная плоть рождается лишь от болезненной плоти, как ни старался отвести от Марии это ужасающее обвинение, которое, если подтвердилось бы, сделало невозможной супружескую с ней жизнь, но реальное, стоявшее и лежавшее перед ним, было сильнее всех возможных доводов и опровержений. Он словно попал в ловушку, из которой нельзя было выбраться, не поступившись достоинством личным или достоинством царским. Но ни то, ни другое было неприемлемо Иоанну; он не допускал мысли, что виноват, как не допускал ее ни в чем и никогда, и чтобы выйти из положения (без потерь и унижений для себя) и определиться, ему оставалось только прибегнуть к тому средству, к какому (в подобных ситуациях) прибегают все: перенести тяжесть гнева с истинного предмета негодования, то есть с Марии, на предмет второстепенный, то есть, в данном случае, на святителей, тем более, что на это име-

лись у него основания. Он вспомнил разговор с ними, когда во главе с митрополитом они явились к нему; и хотя ни митрополита, ни святителей не было теперь возле покойного, но Иоанну казалось, что они находились здесь, и он, обводя всех налитыми гневом глазами, искал их. Он готов был ткнуть, ударить, придушить любого из них независимо от сана и звания, подвернись они ему сейчас, и не сдержался и сделал бы, как позволял позднее — со святителями новгородскими или тверскими, например; но их не было, а был только гнев, была ярость, слепая, безотчетная, и трудно предположить, чем бы закончилось все, если бы не покойный младенец, лежавший со свечою в руках на одре, не истощенная, готовая рухнуть на пол Мария (и рухнула бы, не поддерживай ее под руки), и то чувство достоинства, еще не растраченное к тому времени Иоанном, которое и удержало его от неразумного поступка; окинув еще раз всех гневным взглядом, он решительно повернулся и зашагал к выходу.

* * *

Спустя час, не простившись ни с кем, один (лишь с небольшой охраной и свитой любимцев) Иоанн спешно возвращался в Москву. Что побудило его к этому поступку, теперь трудно сказать; желание ли повидаться с митрополитом, святителями и объясниться с ними или бросить им в их сытые, умиротворенные лики весь тот гнев, какой давно уже как будто накапливался к ним? Прежняя догадка, что духовенство, как и бояре, состоя между собой в тайном сговоре, только и думает, как навредить ему, его семье и помешать царствовать, — догадка представлялась столь явной, что он даже не хотел утруждать себя поисками доказательств. Да и какие еще нужны доказательства, когда они — вот, и более чем очевидны: царевич на одре, царица перед ним в полуобморочном состоянии, и монахи вдоль стен, в каре, не столь со скорбной, сколь с живейшей заинтересованностью взирающие вокруг. Картина эта, словно застыв, стояла перед глазами Иоанна, и ему не важно было, отчего происходил этот их монашеский интерес, оттого ли, что в кельи их, в их однообразное, в молитвах и бдениях аскетическое бытие ворвалась светская жизнь, или оттого, что они невольно явились свидетелями развернувшейся на их глазах трагедии в царском семействе; он видел и воспринимал только то оскорбительное, что было заложено будто бы в их любопытстве и соединялось (в чем он не сомневался) с общей зловещей цепью интриг, свивавшихся вокруг него. Сознать это было мучительно, и чтобы освободиться от средоточия сих сдавливающих дум, он торопил ездовых, повозку встряхивало, кидало из стороны в сторону, лошади рвались, подстегиваемые вожжами, кнутом, окриками; минутами, словно бы выходя из забытья, Иоанн отчетливо слышал и эти окрики, и свист кнутов, и грязевые шлепки о борта повозки, и топот и чавканье

конного сопровождения, без коего не было бы ощущения полноты и целостности движения.

Но дорога тем, может быть, и хороша, что, сковывая человека в поступках и действиях, оставляет ему простор для размышлений, не ограниченных ни временем, ни предвзятостью и направлением самих возникающих мыслей, и Иоанн, будучи самодержцем, но оставаясь при этом человеком со всеми его возможностями, желаниями и страстями, — Иоанн не мог не воспользоваться этим дошедшим и до нас из глубины веков защитным средством и не обратиться к воспоминаниям, которые могли если не оправдать, то по крайней мере объяснить ему происшедшее. И для этого не нужно было напрягать память. Подробности сватовства, женитьбы на Марии и жизни с ней — все было так близко и так осязаемо зримо, что оставалось только перевести взгляд от одной подробности к другой, задерживаясь лишь на тех, которые по выразительности, значимости и глубине пережитого более всего могли теперь волновать самодержца.

Конечно, я понимаю, что берусь изложить здесь всего лишь одну из версий того, что могло происходить тогда, но, полагая, что истина чувств не менее важна для осознания истории, чем истина (и последовательность) событий, рискну и впредь придерживаться этого взятого направления и не прерывать более логического развития сюжета. Иоанн не отделял жизнь личную от жизни державной, хотя и была тут своя полоса разграничений — уже по тому чувству привязанности и любви, какое он сперва испытывал к Анастасии, а затем ко второй супруге, Марии, и тому алчному стремлению к власти и упоением ею, какими отмечены все его государственные начинания; не отделял, особенно теперь, потому что сама идея второго супружества как раз и родилась из державных интересов и дел. В том году у него вновь осложнились отношения с Астраханью, и посланный туда для усмирения Касимовский царь Шиг-Алей не взял города. Иоанн был недоволен и после пасхальных праздников намеревался заменить неудачливого воеводу, но в самый этот день воскресения господня, как отмечает один из позднейших (и безвестных) повествователей — великий день воскресения Христа — пришло от Шиг-Алея если не странное, то, во всяком случае, любопытное послание. Оно было вручено Иоанну во время богослужения, а затем, после литургии, прочтено в присутствии дяди покойной Анастасии, князя Никиты Романовича Захарьина-Юрьева и митрополита Макария. Шиг-Алей сообщал (вслед за оправдательной тирадой), что «города Астракани мурза черкасов горских Теврюг Юнгич мне, холопу твоему царю Шихалею, написал письмо за своею рукою русским языком: буде-де царь Иван Васильевич поимеет за себя дочь мою любезнейшую в царицы себе, аз-де Астраканью и до усть реки Волги, до моря Хвалынского и по морю улусами, и вверх по реке Яику, и с людьми, которые во всей моей Золотой Орде черкасы горские живут, поклонюся ему и грамоту дам на всю свою державу до века». Предлагалось, в сущности,

то, что было уже завоевано и присоединено, но в то же время — наталкивало на размышления. Во-первых, после отказа Сигизмунда так ли, иначе ли, но надо было определяться с невестой, и во-вторых, куда выгоднее иметь окраины смиренными, чем непокорными, и после недолгих одобрительных разговоров с Никитой Романовичем и митрополитом Иоанн продиктовал ответ Шиг-Алею. «Будь по глаголу твоему, — было в ответе. — Только образ ея написав пришли с устроением лепоты лица ея в златом одеянии... И не подменный образ — вместо ея иной не пиши!» Иоанн не хотел, чтобы его обманули; каким бы развратным ни представал он теперь перед нами, облепленный былями и небылицами (как, впрочем, и всякая историческая личность, оставляющая след в веках), но обделенный с детства родительской лаской, он тянулся к семье, как всякий живой росток тянется к свету — и столь же, может быть, неосознанно, как и в минуты, когда диктовал это свое послание Шиг-Алею, так и теперь (и даже, может, обостренное), когда пережитое в тех же подробностях повторялось в нем.

Царские возницы между тем продолжали неистовствовать, кони мчались, повозку трясло и подбрасывало на ухабах так, что Иоанн на своем застланном мехами сиденье вынужден был, схватившись за поручни, прижиматься к ним. В одной из деревень, где была собрана подстава, сменили лошадей и вместе с этой сменой тяги с новой и еще более будто обостренной силой потекли мысли Иоанна. Перед ним возникали подробности — вроде бы несущественные, забытые, но которые как раз и переносили его в мир прошлых (и счастливых!) переживаний. Не так уж, наверное, и ждал от Шиг-Алея описания «лепоты» лица будущей царицы, как это представлялось ему теперь; с некоторой даже скептичностью он принялся распечатывать второе его послание, косясь на приложенный к этому посланию золотой ларец, будто бы от самой Кученей (так до принятия ею православия именовалась будущая царица Мария), но — для подтверждения теперешних чувств и мыслей требовалась иная действительность, и услужливая память подавала это и н о е, окрашенное удивлением и восторгом. Восточная, да именно, восточная «лепота лица ея» и «доброта возраста ея», пересказанные Шиг-Алеем, настолько возбудили желания Иоанна, что ничто уже не могло удержать его от сватовства и женитьбы на ней. Он собирает князей и бояр во дворец, устраивает им торжества и объявляет о своем намерении. Чтобы получить благословение от святителей, щедро одаривает московскую патриархию, не обходя царской милостью и митрополита Макария, чьим согласием особенно важно было заручиться Иоанну, а чтобы придать предстоящим событиям надлежащую значимость, задумывает направить в Астрахань за невестой необычное (по размаху и пышности, разумеется) посольство: пеших и конных ратников для сопровождения во главе с двенадцатью знаменитейшими воеводами, более сотни вельможных жен, боярских вдов и девиц. «Воеводам же даде одеяние злато, — значит, все в том же (позднейшем и безымянном) источнике, — и девицам,

и вдовам, и женам летники златы, и всему воинству одеяние златое». В свидетельстве этом есть, наверное, и свое преувеличение, подымающее не столько даже престиж Иоанна, сколько престиж России — традиция, не исчерпавшая себя и поныне, удивлять не искусством, не тонкостью дела, а массовостью; но мне не хотелось бы теперь вдаваться в подробности, потому что — история всегда ясна лишь для историков; для всех остальных же — тем и привлекательна, что существует как тайна, прикрытая тенью веков, чтобы возбуждать воображение. Но для Иоанна происходившее не было историей, он просто, как всякий человек, но лишь на своем, монаршем уровне творил жизнь, и как бы ни велики или ни малы бывали радости или огорчения, он откликался на них столь же пространно и чутко, как откликается каждый из нас, дорожа семьей, достатком и счастьем. Видя все в мелочах и деталях, Иоанн вместе с тем как бы держал на себе весь размах тогдашних событий, включавших и подготовку ратников, и их «златое» одеяние, и отбор вельможных жен, вдов и девиц, для которых тоже нужно было пошить наряды — «летники златы», и строительство судов (стругов) в Коломне, откуда по Оке, а затем по Волге посольство за шесть недель должно было спуститься к Астрахани. Самодержец поднял и задействовал, как сказали бы мы теперь, все, что только можно было поднять и задействовать, стучали топоры, до света лучин не разгибали спин оружейники и швеи; Россия, словно вострепнувшись, готовилась к каким-то будто великим торжествам, хотя они и заключали собой всего лишь предстоявшее венчание Иоанна; но, обходя теперь воображением весь этот труд, он видел перед собой лишь то, что явилось его результатом, когда, прибыв в Коломну, устроил смотр своему столь необычному посольству.

* * *

Пешие и конные ратники, предводительствуемые воеводами, и вся женская часть — счастливицы, сумевшие пройти царский отбор, затемно еще были выведены за город и построены в колонну в том порядке, в каком затем предстояло им вступить в Астрахань. Возбужденные горожане — и приездом царя, и сим необычным зрелищем, какое готовилось развернуться на их глазах, — тоже затемно почти высыпали на улицы и запрудили площадь, шумно и не без остроумия пытаясь дать свое толкование происходившему. На реке, приткнувшись к берегу, стояли на приколах суда (струги), готовые принять и ратников, и вельможных жен, вдов и девиц. Почти не спавший ночь Иоанн завтракал после заутрени в кругу своих приближенных, среди которых были и Басмановы отец с сыном, и князь Вяземский, и Грязной, и Малюта Скуратов-Бельский, набиравшийся силы и лютости. С восходом солнца вся сияющая, словно иконостас, нарядами, доспехами и «златом» колонна, двинувшись, начала втягиваться в город. Она должна была, пройдя через площадь, спуститься к судам и, не задерживаясь, погрузиться на них. В цен-

тре площади, перед собором, ожидал колонну позавтракавший уже Иоанн со свитой и духовенством, коему надлежало освятить посольство и дать ему свое благословение. Иоанн был на коне, как и большинство из его свиты, и, трудно сказать, беспокойство ли самодержца, чувствовавшего себя в роли жениха, передавалось коню, перебиравшему ногами и не желавшему стоять, а желавшему двигаться, или, напротив, беспокойство коня передавалось Иоанну и побуждало его к молодцеватости, положенной (в такие минуты!) жениху, или, может, и то и другое вместе, и само утро, наполненное светом и свежестью, и предчувствием счастливых перемен, но так ли, иначе ли, а вид царя был необычен, прекрасен и внушал изумление. «Царь-то наш, царь, батюшки», — раздавалось в толпе. Иоанном и впрямь можно было бы только любоваться, если бы не сознание дел, — самодержавных, — творившихся им. Но народ тем и велик, что незлобив и незлопамятен, и сиюминутное впечатление обычно оказывается для него главным; чуть притихнув в ожидании, он готов был к восторгу и ликованию (как, впрочем, происходит и сегодня — в массе своей), не задумываясь ни о сути, ни о последствиях совершавшегося. Но и мысли и чувства Иоанна, все его состояние, выраженное в горделивой, жениховской осанке, может быть, за малым исключением едва ли возвышалось над толпой; сиюминутное брало верх и над ним, и он не мог удержаться от восторга, охватывавшего его.

Колонна между тем приближалась к площади, первые шеренги ее вот-вот должны были появиться перед Иоанном, и в самый тот миг, когда они появились, когда величественная панорама всадников, бряцавших оружием и сверкавших позолотой шлемов и кольчуг, ратников пеших, столь же внушительно отягченных доспехами, сколь и разодетых, и женщин в «летниках золотых» с цветами и лентами, — когда панорама сего неповторимого шествия, словно раздвигавшего перед собой лучи восходящего солнца, открылась Иоанну, все как будто на мгновение замерло, застыло и, запечатлевшись в памяти, воспроизводилось теперь, когда он спешно, в повозке, возвращался в Москву; воспроизводилось со всеми мыслимыми подробностями, будоража чувства и ум. Еще не видя невесты и лишь по описаниям Шиг-Алея представляя ее себе, — «лепоту лица ея» и «лепоту возраста ея», — он создавал уже для нее ту атмосферу величия, в какой только и мыслимо пребывание царицы. Ему казалось (как это, впрочем, кажется нам и теперь), что чем щедрее озолотит он будущую свою супругу, чем обильнее бросит ей к ногам достатка и знатности, тем обильнее все вернется к нему уютом, признанием и нежностью; он, в сущности, не сознавая того, уже в эти начальные минуты любил не будущую свою супругу, царицу Марию, не неизвестную ему еще, но уже дорогую Кученей, а всего лишь — был в плену тех усилий (затрат, разумеется), какие вкладывал в нее теперь, и какие, если судить по этим усилиям (и затратам!), не могли не обернуться для него благополучием и счастьем.

Говорят, что только общее видение, только последовательное соединение всех деталей того или иного события позволяют составить целостное представление о нем. Для Иоанна же целостное заключалось в ином. Он фиксировал в воображении лишь узловые моменты, оставаясь на них и вникая в них, они давали ему и определенный настрой, и возбуждали мысли, и, соединяя ожидавшееся с настоящим, вызвали то новое и неприятное чувство горечи и тошноты, как после осознания обмана, — которое он более всего не хотел, чтобы оно обосновалось в его душе (по отношению к Марии) и терзало его. Картину шествия в Коломне он мысленно переносил на Астрахань, где все это должно было повториться с еще большим размахом и величием; к воеводам и ратникам московским, к вельможным женам, девицам и вдовам в «летниках золотых» присоединилось еще почти двадцатитысячное войско Шиг-Алея со стрельцами и пушками, и, как и было условлено, все это необычное и по-своему знаменитое Иоанново посольство, выстроившись в полночь за городской стеной, на рассвете, с первыми лучами восходящего солнца вступило в город. Иоанн не видел этого зрелища; но он вполне представлял его, соотнося весь этот размах со своим чувством к Марии, и как продолжение (или взвинчивание) этого чувства, вновь и вновь мысленно возвращаясь к тому посланию, какое, едва суда с посольством отплыли от Коломны, было направлено им в Казань. Ссылаясь на благословение митрополита Макария, он просил архиепископа казанского Гурия окрестить Кученей, будущую российскую царицу и наречь ее именем Мария. «Купель же избери пространную», — писал он, — или повели сделать вскоре древодельцам. А крести ея за подсолнечником со всем освященным собором... Лепоты же и доброты ея телесные да не даси в видение многим!» Как и тогда, так и теперь — эти последние вписанные слова особенно волновали Иоанна. Никто, кроме него, не должен был видеть ее телесной красоты, ее стройного, тонкого девичьего стана; еще не прибывшая в Москву и не обвенчавшаяся с ним, не ставшая женой, она представлялась уже ему безраздельной собственностью, и, как и в молодости, перед первым своим супружеством, когда он выбрал Анастасию, все до клеточки трепетало в нем любовью и ревностью, и эти всегда сопутствующие (в каждом человеке) два чувства, два исключających друг друга и в то же время единых по необузданности своей начала, смыкаясь, борясь и терзая душу, как раз и составляли в нем теперь если не самую жизнь, то страстную и неукротимую тягу к ней. Движение внешнее: повозка, кони, топот копыт, храп, крики ездовых и свист кнута, рассекающего воздух, и движение душевное, — все сливалось в нем в единый, неделимый мир, в котором надо было выбирать ориентиры и утверждаться и как монарху, и как человеку, и, может быть, хоть в эти минуты (лицу надеждой себя), минуты искренних душевных прояснений, являлись к нему проблески понимания, что если столь трудна для монарха, то сколь же непосильна (в устройстве благополучия) должна быть жизнь у простых людей.

Прибыв в Москву, Иоанн отказался принять митрополита Макария со святителями, пришедшими утешить его. Он удалился в палаты и до темноты просидел в них один, продолжая, видимо, мучиться в раздумьях и поисках, затем велел зажечь свечи в фамильной церкви и, опустившись на колени перед алтарем и иконостасом, усердно, до изнеможения молился, прося у всевышнего снисхождения, наставлений и крепости.

* * *

На следующий день, утром, митрополит и святители вновь явились к нему. Впустив на сей раз и выслушав их, ничего не сказав в ответ, а только мрачно и отчужденно, как он умел, оглядев их, Иоанн велел затем снарядить людей и подводы за царицей и покойником-сыном, и в ожидании, пока они придут, как и накануне, затворился в палатах, чтобы, по версии современников его, предаться уединению и молитвам в той горести, какая постигла его (и державу, как надо было полагать, потому что жизнь монарха и державы отождествлялись, то есть не могли не отождествляться не только самим Иоанном, но и духовенством, боярами и народом), или чтобы, как полагаем уже мы, вглядываясь со своих вершин в отдаленное прошлое, в уединении завершить ту тяжелейшую работу души, которая началась в дороге и продолжала, несмотря на молитвы у алтаря, подавлять вопросами бытия, неразрешимостью сомнений и неуловимостью истин. Он сознавал лишь, что призван повелевать жизнью и миром (иначе какой же тогда смысл в понятиях «царь» и «самодержец?»), но и жизнь и мир, он видел, не во всем повиновались ему; желания и воля то и дело наталкивались на сопротивление, которое, от чего оно происходило, Иоанн не мог уяснить и ожесточался в непримиримости и бессилии. Он надеялся на согласие и счастье с Марией и чувствовал силы и желание любить ее, но его словно ударили по рукам и отнимали самую возможность проявления благородства и человечности; он ухватился было, как за надежду, за сына, соединив торжество появления его с торжеством взятия Полоцка; но и здесь кто-то будто уже стоял за спиной с траурным покрывалом. Он переносил этот страшный для себя вывод с дел житейских на дела державные и находил, что и тут все для него повторялось с той же последовательностью, когда — и очевидно все, и неуловимо — ни в корнях, то есть причинах или истоках, ни в персонах, прикрывавшихся заботами об отечестве и народе. «Что даровано богом мне — народ и отечество, — разве может занимать рабов моих? Лишь безволею и слабостью я даю им право преступать то, что от роду неизменно и свято!» Ему казалось неестественным, что всякое его слово должно обсуждаться среди думных бояр, а желания согласовываться с Первосвятителем и духовенством; он спрашивал себя: «Достоин ли подобное самодержца?» — и отвечал, что нет, что все, что дождет им, есть воля божья, и что потому в делах и поступ-

ках своих он подотчетен только Богу. Но как было воплотить это в жизнь? Идея, даже осознанная, он понимал, остается лишь благим намерением, если она не подкреплена делом, и ему впервые (в эти часы уединения и отягченных раздумий) пришла мысль, что все упирается в уклад жизни, который устарел и не соответствует нынешнему соотношению сил, когда есть самодержец, его воля, и есть все остальное, должное подчиняться этой воле; да, да, пришла именно эта мысль о переустройстве устоявшихся общественных связей и оттеснении народа и бояр от механизма государственной власти. Ключи должны быть у ключника, а не ходить по рукам, как панельная девка, потерявшая себя и не умеющая остановиться; должна быть система, строго определяющая, кто есть кто, и ее элементы, то есть то изначально: деление общества на опричнину и земство, что будет положено в ее основание (и с помощью чего народ да и боярство, разноликое и влиятельное, будут окончательно отчуждены от власти), — элементы этой системы, которая затем, совершенствуясь и научившись самовоспроизводить себя, мертвую хваткой вцепится в державу и будет из столетия в столетие экономически и нравственно удушать ее, начали появляться и обрисовываться в сознании Иоанна. Но он еще не понимал, что являлось ему, какую страшную участь уготовливал он своему отечеству и народу, чувствуя только, что открывалось нечто великое, что должно вознести его, он торопил мысли, сбивался и негодовал, и если верно выражение, что все великое всегда сопряжено с мужеством и решительностью, то как раз этого и не доставало теперь Иоанну. Самолюбивый, жестокий и трусливый, он чувствовал себя как бы между двумя готовыми опалить его огнями, глаза его были округлены, он смотрел с ненавистью на все, что попадалось, и в этом состоянии необузданности и застал его духовник, осмелившийся ввечеру заглянуть к нему.

Духовник был затем отдален от царя и заточен в обители безвестной, глухой, забытой даже, может быть, самим Богом, он был прикован цепями к стене в келье, и у него был отрезан язык, потому что властители не терпят свидетелей своих слабостей. И тут Иоанн не являлся исключением. Но как бы там ни было, появление духовника словно бы отрезвило царя, он вновь до полуночи стоял на коленях перед алтарем и молился, а на другой день, когда вышел из дворца, чтобы встретить покойного царевича и царицу, казался кротким и умиротворенным. Следы мученических раздумий на лице, да и во всем облике говорили лишь о том, насколько он тяжело перенес смерть младенца-царевича, то есть воспринимались — и близкими, и народом — совсем по-иному и возвеличивали его. Они выказывали в нем ту человечность, какой, в сущности, даже намеком не гнездились в его душе, и, то ли сознавая сию ложность (насколько можно использовать ее), то ли интуитивно, лишь по инерции, так как все равно не в силах был ничего изменить, он, словно нечто драгоценное, нес этот крест мученичества на себе, ловя сострадание на лицах духовенства, бояр и принимая это сострадание и успокаиваясь им.

Отпевать покойного царевича он велел в той же церкви на Арбате, в какой всего лишь пять недель назад крестили его. Тогда, взяв младенца на руки, в воинских доспехах и пыльный еще с дороги, Иоанн нес его (при стечении народа) в Кремль, теперь же, понуро, в трауре, следовал за гробиком, который несли на плечах придворные вельможи и новоявленные (по царице) родственники, участники похода на Полоцк, и толпы народа, того самого, что только что, казалось, приветствовал царя-победителя и младенца-наследника, желая им долгие и славные лета, толпы, грудясь и образуя коридор, молчаливо, со склоненными головами встречали и провожали шествие. То, что Иоанн, ликуя в торжественной приподнятости, прижимал к груди не просто как комочек рожденной им жизни, но как залог счастья, которое, разрастаясь, должно было заполнить собой все, что в обозримом и необозримом пространстве окружало его, он возвращал теперь обратно, как не свое, чужое, ложно взятое им, и осознание этого минутами вновь приводило его в бешенство; он опускал лицо, чтобы не выдать гнева (покойник, пусть и младенец, но сдерживал его), и лишь, время от времени искоса, из-под густых (тогда еще!), наплывавших бровей поглядывал на царицу, которую едва живую вели и поддерживали со всех сторон.

Во все время панихиды, которую вел Первосвятитель митрополит Макарий, совершенно уже немощный и похожий на покойника серостью своего утомленного старческого лица и впалостью глаз (обрядовая одежда свисала на нем, словно надетая на жердь, и только массивный, в золоте и камнях крест, лежавший на груди, продолжал еще говорить о некоем величии духа), Иоанн вместе с царицей стоял перед гробом, в котором, обложенное цветами и хвоей, лежало тело младенца-царевича. В скрещенных на детской грудке его руках, в пальчиках, опять как и в обители, когда Иоанн впервые утром, войдя в палаты настоятеля, увидел сына мертвым, была зажата свеча; она казалась непомерной и относительно рук, пальчиков, да и всего тельца, была зажжена, и от мигающего язычка пламени словно прокатывались по мертвому младенческому лицу светлые тени и оживляли его. Явление это казалось странным Иоанну и возбуждало его. Он смотрел неотрывно на розово-разгоравшиеся будто бы щеки сына (что было, разумеется не галлюцинацией, а возникало от света свечи и густо-малинового бархата, каймой обрамлявшего гроб), и впечатление это — впечатление какого-то затянувшегося обмана, с детства и во всем будто преследовавшего Иоанна, обретало (более, может быть, чем когда-либо) и форму, и смысл, и подвигало к новой и страшной волне догадок и действий. Смирившись с потерей сына и опустошившись (на сей счет) душой, он теперь, здесь, у гроба, наполнялся той необузданной силой, которая, разжавшись затем, как пружина, вергнет его и окружающих в непредсказуемую и жесточайшую трагедию мстительных убийств и казней, но он еще держался и не выказывал себя ни на похоронах, проведенных с великокняжескими почестями, ни на поминках, на которые собраны были

духовенство, князья и бояре без разделения еще на своих и чужих; однако более близкие к Иоанну и хорошо знавшие его все же не могли не заметить произошедших в нем перемен и с тяжелыми предчувствиями расходились и разъезжались из царских палат.

* * *

После поминок, еще ни минуты не оставшийся во все эти дни наедине с царицей и чувствовавший, что надо зайти к ней (хотя бы извиниться за тот свой поступок, когда, бросив ее с умершим сыном в обители на попечение настоятелей и монахов, спешно помчался в Москву), Иоанн направился в женскую половину дворца, в покои, где, приготовившаяся уже ко сну, лежала Мария на высокой, в перинах и с пологом, кровати; полог с одной стороны не был еще опущен, и при свете горевших свечей было хорошо видно ее смуглое, измятое бессонницей и блестевшее бороздками от не просохших еще слез лицо, и видны были руки, тонкие и тоже смуглые, покоившиеся поверх одеяла. Она расплетала на ночь свои густые черные волосы, и они словно бы переливающимся темным овалом обрамляли теперь ее лицо, подчеркивая крахмальную белизну подушек.

Иоанн не раз и прежде, приходя к ней, заставал ее уже отходящей ко сну, и ничего неожиданного и удивительного не было в этой открывшейся ему знакомой картине; все располагалось на тех же местах и в том же порядке, в каком пребывало всегда и в сем привычном сочетании вещей и красок — расцветки ковра, росписей, мебели, позолоты и бархата — так же неотразимо будто (в своей восточной неповторимости) смотрелась Мария. Но Иоанн — Иоанн был другим после мучительных дум, душевных терзаний и догадок; так же, как он по-иному смотрел сейчас на мир и воспринимал его, он по-иному увидел и спальню жены, да и самую Марию, к которой хотя и казалось ему, что определился в чувствах, но (чисто в человеческом уже плане) продолжал жалеть как женщину, связанную еще семейными узами с ним. Ему даже вдруг показалось, что он будто вошел совсем в иной мир, чем входил прежде, и пастельные тона, в коих была расписана спальня, и какие всегда раньше отдавали лишь теплотой и уютom, выглядели теперь бледными, безликими, лишенными жизни и наводящими тоску. Безликими были и шторы, и занавески, и полог, и белесый ковер, специально подобранный для спальни, и иссяня-белая, сработанная европейскими краснотеревщиками мебель, словно специально поставленная сюда, чтобы собирать на себя и излучать холод; и как венчающее все — тонкое, болезненно-худое хрупкое естество царицы. Возле кровати, на столике, в трехчашем бронзовом подсвечнике горели свечи. Вздрагивающий свет их падал на ковер, стены, кровать, лицо и руки Марии, розоватыми бликами разбегаясь и затухая по углам, и хотя, повторюсь, ничего необычного не было и не могло быть в сем явлении, и находишься Иоанн в дру-

гом настроения, он не придал бы этому никакого значения; но ложной своей живостью блики сейчас же словно бы вернули его к минутам, когда он стоял в церкви перед гробиком и смотрел на крохотную и розово оживляющуюся мертвую головку царевича; то же впечатление, тот же обман — вместо жизни лишь ее видимость, без осознания чувств, желаний, страстей, мыслей; но Иоанна не устраивал обман, он жаждал жизни, и как на нечто стоящее на пути (к достижению этой цели) и мешавшее ему, готов был весь свой накопившийся гнев обрушить на Марию. Он впервые с нескрываемой ненавистью, даже с бешенством посмотрел на нее, выжидая, чтобы она дала повод, и, может быть, если бы она пошевелилась или произнесла слово, произошло бы непоправимое; но царица лежала неподвижно, глаза ее были прикрыты, у нее, видимо, имелось свое основание ни о чем не просить мужа, и Иоанн, холодея от невозможности выплеснуть гнев, подвинулся ближе к кровати и сел на приступку у подножья ее, отвернувшись от царицы, сгорбившись не по годам и глядя перед собой в пол.

У каждого человека хоть раз в жизни, но бывает минута растерянности; бывает такая минута и у властителей, и чаще не тогда, когда нужно решать судьбу народа и государства; жизнь своя и удовлетворение ею являлись и для Иоанна главным мерилom бытия, и страдания миллионов не могли замечаться им так, как замечались неудобства свои, с какими вдруг, как теперь, приходилось сталкиваться. В сознании его, когда он только входил к царице, было все ясно, и он знал, что и как скажет ей; в основе этого душевного движения лежало то простое человеческое чувство, вернее, та простая мысль (называемая в народе еще мудростью), которая указывала, что следует не усложнять обстоятельства, а упрощать их, что мир даже худой лучше ссоры и что в конце концов смерть первенца (как показала жизнь с Анастасией) еще не может ничего означать. Иоанн силился вернуться к этой изначальной мысли, но вместо нее, как оно и бывает, когда желания не состыковываются с возможностями, в воображении возникала совсем иная картина и уносила к тем счастливым мгновеньям, когда после всех шумных и утомивших его и Марию свадебных торжеств, их, наконец, привели сюда, в спальню, и оставили одних. Иоанн не снимал с нее одежду, нет, ему и теперь казалось, что он даже не заметил, как все совершилось, и по какому волшебству Мария очутилась в постели — с распущенными, как и сейчас, черными (по подушке) волосами, словно подчеркивавшими своим переливающимся овалом смуглую бледность ее испуганно наполненного ожиданием лица; но он ясно помнил, как сидел вот так же, на приступке у подножья кровати, сняв с себя херувимскую и венчальную золотые цепи и теребя их, — да, сидел именно так, но с иными, счастливыми надеждами и думами, обретая (уже в самые те минуты предвкушения) столь важное для него после пиров, развратных попок и похождений семейное пристанище. Он даже, может, и не думал тогда, а просто был убежден, что нет, не оставлен Божьей милостью, что Господь не отвер-

нулся от него и что дверь для очищения, и прежде всего очищения нравственного, вновь и щедро распахнута перед ним. Готовясь войти в эту дверь, он был полон желания оправдать возлагавшиеся на него (Богом, разумеется) надежды и с чувством исполненного долга жил затем с Марией и оберегал ее; но за спиной, на кровати, лежала теперь как будто совсем другая женщина, которая не только не принесла, как ожидал Иоанн, уюта ему и счастья, но лишь постоянно добавляла хлопот и отвлекала от государственных дел. Вырвавшись из зависимости одной, — Адашева и Сильвестра, как было при Анастасии, — Иоанн чувствовал, что попадал в другую — от родственников царицы и бояр, примыкавших к ним, и против этого нового ярма, уготованного ему, все монаршее самолюбие поднималось и протестовало в нем. Он не оборачивался и не смотрел на Марию. Воспоминания не пробудили в нем интереса к ней. Его обдавало холодком от одной только возможности соединиться с ней, и, как и в обители, когда увидел гроб с тельцем младенца-царевича, — «Да, немощная плоть рождается лишь от немощной плоти!» — резко поднялся и, ничего не произнес, вышел из спальни.

* * *

Царица недомогала более недели, оставалась в палатах и общалась лишь с лекарем — то ли немцем, то ли греком, то есть иностранцем, как и полагалось тогда (да и теперь!) на Руси, где принято считать, что в своем отечестве пророков нет и быть не может, — да с теми вельможными дамами и девицами, какие были приставлены к ней; и во все эти дни ее болезни Иоанн уже не уединялся, не бездействовал, отстранившись от государственных нужд, людей и событий; он принимал послов, воевод, провел несколько важных бесед с митрополитом Макарием относительно учреждения Полоцкой Архиепископии «в честь сего древняго Княжества и тамошняго знаменитого храма Софийскаго», как это теперь подавалось им (и что казалось нужным предпринять после разорения и разграбления города), встречался со многими другими духовными лицами, присматриваясь, кем бы из них можно было заменить дышавшего уже на ладан Макария. Именно тогда он обратил внимание на нового своего духовника, бывшего инока Чудова монастыря, а затем протоиерея Благовещенского Кремлевского собора Афанасия. Иоанновы любимцы: отец и сын Басмановы, Вяземский, Салтыков, Чеботов, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, от которых не ускользнуло, да и не могло ускользнуть его новое отношение к царице, означившееся отчуждением и холодностью, попытались было опять втянуть Иоанна в развратные пиры и увеселения; привыкшие удовлетворяться в скоморошьях забавах, они не могли понять бывшего соучастника их веселий и, выходя с отказом от Иоанна, искренне недоумевали и пожимали плечами. Жизнь по-разному оборачивается к людям, и хотя звездный час царских любимчиков был еще впереди, как и час расплаты за содеянное — клевету, ин-

триги, оговоры и вседозволенность, — но если цель придворных всегда есть только увеселения и ловля чинов, богатства и званий, то и творившееся при дворе Иоанна было всего лишь естественным ходом событий. Неестественным, может быть, оставался лишь сам Иоанн. Поглощенный как будто заботами внешними, он вместе с тем не прерывал тех глубинных раздумий, которые и привели его не только к осознанию (к чему приходили и до него) царской власти, но к пониманию необходимости ее теоретического обоснования. Тогда как дед и отец его — Великие Князья Иоанн III и Василий Иоаннович — старались укрепить свое влияние и власть лишь отдельными, разрозненными, хотя и крупными мерами, Иоанн приходил к мысли, что должна быть воздвигнута некая единая, охватывающая всех и все система управления, и упоенный этой открывавшейся возможностью, которую следовало лишь уточнить, разработать в деталях и провести в жизнь, упоенный этой идеей переустройства и обновления, он уже не думал о Марии. Все, что было связано с ней, вернее, со смертью сына и теми последующими событиями и переживаниями, мучительно охватившими Иоанна и вызвавшими гнев, — все казалось отдаленным и мелочным в сравнении с этим новым, что занимало теперь. Он даже удивился, когда ему сказали, что царица поправилась, и с минуту стоял в недоумении, вспоминая, как о чем-то далеком, смутном, о своих отношениях с ней. Царица была на молитни, и он, стараясь не прервать ее общения с Богом, тихо, почти неслышно прошел в знакомую до мелочей фамильную (при дворе) церковь и встал рядом с ней. Мария чуть обернулась к нему своим красивым, смуглым, успевшим слегка посвежеть за минувшие дни лицом и, не давая как следует разглядеть себя, вновь обратилась к молитве. Губы ее беззвучно зашевелились, устремленные к Богу и Пресвятой Богородице. Перед иконой Богородицы, алтарем и иконостасом горели свечи, они были уже на исходе, и все небольшое, стиснутое глухими стенами пространство церкви было заполнено запахом растопленного воска и копотью. От всколыхнувшегося (с приходом Иоанна) воздуха язычки пламени затрепыхали, и все только что казавшееся неподвижным, — лики святых в окладах и ризах, угодники по стенам да и сама Мария в малиновом летнике, в каком Иоанн более всего любил видеть ее, — все вдруг словно бы ожило, приветствуя появление царя, Иоанн даже вздрогнул от неожиданности. Ему показалось, что то, что давно уже как будто неприятно преследовало его, опять, и столь же неприятно растревоживая память, проявилось перед ним. Но оттого, что он был теперь в другом настроении и не призрачные, а реальные вопросы жизни беспокоили и отвлекали его, вернее, потому, что чувствовал себя в борении, в деятельности, как человек, противостоящий то ли напору воды, то ли ветра (напору державы, как можно было бы сказать точнее, какую управляя и от которой домогался безоглядного, безропотного и всеохватного подчинения), — Иоанн не поморщился, не отвернулся, не вспыхнул гневом, что опять, дескать, вместо жизни подана лишь ее иллюзорная

видимость; мелькание язычков и бликов передалось ему, и, охваченный состоянием торжества и радости, он совсем по-иному посмотрел на Марию. Она показалась ему теперь полной сил, красоты и молодости, то есть почти такой же, как накануне свадьбы, и вынесенный им неделю назад приговор ей (решительный и скорый), приговор тот уже не имел смысла; он не то чтобы отменялся по воле Иоанна, но смягчался всей той возбужденно-ободряющей картиной жизни, которая, развернувшись, открылась перед ним. Просветленным казалось лицо царицы, просветленно смотрели на Иоанна лики угодников с иконостаса и стен, и во всем этом он увидел или, вернее, почувствовал то хорошее предзнаменование, какое важно было ему увидеть в преддверии задуманных им державных перемен.

Но Мария и в самом деле в эти минуты была прекрасна. Хотя трудно поверить, чтобы она могла столь скоротечно смириться с горем, так тяжело перенесенным ею, но в то же время нельзя было сказать, глядя на нее, чтобы она продолжала страдать, вымучивая, как это бывает с женщинами, и себя, и ближних; боль утраты, которая еще оставалась в ней, была перенесена в глубь души и захоронена там, словно преданная земле, и это-то чувство, эта готовность снять ношу не только с себя, но и с окружающих и уловил в ней Иоанн. В простонародье по сему поводу существует изречение, что жизнь со смертью ближнего не обрывается и что надо продолжать ее, то есть входить в обычную колею дел и забот, приносящих хлеб насущный, и так как Иоанн был уже более, чем поглощен своими новыми державными замыслами, то и эта невысказанная, а лишь переданная всем видом и состоянием души готовность если не помочь, то хотя бы не помешать ему, была не то чтобы осознана и принята, но принята с той ответной благодарностью, которую он столь же молчаливо, как это и происходит между родными, старался передать ей. Он любовался Марией, ее прической, нарядом, явно говорившими, что она ждала его — именно здесь и именно в этот час и минуту (хотя, судя по дотлевавшим свечам, вряд ли уже верила, что придет), любовался ее размягченным, с тонкими правильными чертами лицом и всей ее милой, как ему показалось, головкой, которую готов был теперь же, не медля ни секунды, прижать к груди, погладить и приласкать; но лики святых, устремленные на Иоанна, сдерживали его, и он продолжал лишь смотреть на Марию и находить в ней все новые и новые прелести, прежде даже как будто не замечавшиеся им. Ему казалось, что все это происходило в ней от молитвы, от общения с Богом, которое он не хотел прерывать; и он сам как будто наполнялся той же добротой, что и обычно холодное (к нему) сердце Марии. В ней, может быть, как никогда ясно проглядывало теперь не то царственное, что дается происхождением и говорит более о высокомерии, чем о величии и достоинстве, а иное, что дается лишь состоянием души, приподнимая простое до великого и опуская великое до земли.

На следующий день в церквах и соборах прошли торжественные службы в честь выздоровления царицы, и, растревоженный призывным (переливным) звоном колоколов, мастеровой и торговый московский люд высыпал на улицы, облепив кабаки и всякие иные питейные заведения, надеясь на царскую (как это случалось не раз) щедрость. В тронном зале дворца были собраны бояре, духовенство, но не для пиршества и увеселений, как следовало бы ожидать, — нет, а для разговора и совета, какой самодержец российский будто бы хотел держать с ними. Бояре расселись вдоль стен на скамьях, обитых кожей и бархатом, — каждый в соответствии со своим возрастом, положением при дворе и значимостью, выставив перед собой поверх боярских одежд, словно напоказ, седые расчесанные бороды. Полагая многословье пустобрехством, а помалкивание достоинством (что и теперь достаточно читится за Кремлевскими стенами, да и не только за ними), и бояре, и духовенство лишь изредка перебрасывались глубокомысленными (для них) фразами; в их сосредоточенных лицах нельзя было прочесть ничего, они умели скрывать мысли и, может быть, оттого и прозывались думными, что соображали подолгу и молча, прежде чем произнести слово. Что же касается самих соображений, то, видимо, они все больше вращались вокруг одного и того же — чего желал бы и чего не желал услышать от них самодержец. В эту-то атмосферу истуканства и тугодумия, какая только и возможна была тогда при дворе, где каждый следил за каждым и боялся каждого, а все вместе боялись равно как гнева, так и милости царской, за которую, впрочем (именно, что был обласкан), приходилось затем расплачиваться жизнью, Иоанн и решил привести Марию, чтобы: 1) показать всем свое неизменное отношение к ней и пресечь таким образом разные толки, уже начавшие распространяться по этому поводу, и 2) сделать ее соучастницей своего торжества, так как полагал именно теперь, в этот день, объявить о своих намерениях (относительно переустройства общества и укрепления единовластия), в коих хотя и не было еще полной ясности, но виделась та грандиозность, о которой трудно было удержаться и не сказать.

* * *

Принято считать, что Иоанн был не только или, точнее, не столько истязателем и губителем бояр и народа, сколько крупнейшим государственным деятелем, завершившим процесс образования Российской державы. Но чтобы согласиться или не согласиться с подобным заверением, следует прежде всего уяснить, что вбирает в себя понятие «государство», а вместе с ним и «государственный деятель», тем более «крупнейший», отдающий будто бы жизнь этому важному на земле делу, и не заложена ли здесь некая самоцель династических да и не династических (по нынешним временам), но уквсивших от сладости власти правителей, лишь в силу обстоятельств вынужденных поддерживать и укреплять то, что

является источником их благополучия, кормит, одевает, обувает, осыпает роскошью и готово удовлетворить любое их амбициозное желание, и что вбирает в себя понятие «народ», какова здесь цель или самоцель, и насколько желателен, а вернее, необходим народу этот возводящийся над ним государственный аппарат подавления свобод и насилия, который разве что только обирает его и кормится за счет этого и который чем совершенней он создан (именно с точки зрения обирания и насилия), тем славнее и выше почитается в истории личность такого преобразователя. Справедливо ли это, или, все же, держась крестьянской рассудительности, вернее было бы сказать, что не тот деятель, который, занимаясь укреплением государства, видит в этом лишь самоцель, то есть, обрастая славою, укрепляется сам, а тот, что дает жить народу, соблюдая его интересы — хоть как-то, хоть на треть, пусть даже на самую малость, — может признаваться исторической личностью. Присоединение Казанского и Астраханского царств, если бы оно происходило бескровно, на добровольных, как мы охарактеризовали бы теперь, началах (коль уж в этом была необходимость и неизбежно надо было объединиться), то есть без погромов, разорений, казней, убийств (вина, разумеется, ложится на обе стороны, одинаково возглавлявшиеся амбициозными и даже сверхамбициозными правителями), естественно, можно было бы говорить о государственной (с учетом интересов простых людей) мудрости Иоанна. Сравнить народы, свести их в смертельную схватку — ума тут не требуется; но решить спор мирно, полюбовно — тут необходим действительно государственный ум, каковой, к сожалению, является редко и не всегда, в силу именно своей мудрости и скромности замечается летописцами и остается в веках. Я вовсе не хочу преподносить здесь урок, тем более что вся сложность того времени многократно изложена в трудах ученых; без единения не выстоять бы тогда народу, равно как и без своей государственности, но речь о другом: действительно ли Иоанн отстаивал интересы державы, или все совершившееся им совершалось лишь из потребностей личных? Или же, что более вероятно, державное и личное настолько сплелись в нем (как у главы семьи, к примеру, или хозяина дома), что не только он сам, но и окружавшие вряд ли смогли бы провести разделительную черту. Так при чем же тут государственный ум, если из поля зрения его выпадает главное — народ? Завоевание других царств, присоединение новых земель, выходы к морю, укрепляющие могущество державы, да не есть ли это прежде всего укрепление трона — с той внешней стороны, той международной престижности, какая болезненнее всего воспринимается между властителями; притеснением же подчиненных и ограблением их в пользу казны укрепляется так называемое внутридержавное стержневое могущество власти; и это-то второе, то есть дела внутридержавные, соединенные, как в острие пирамиды, в личной заинтересованности Иоанна, как раз и занимало его теперь, и со страшной этой мыслью всеобщего и полного почти закабаления, воспринимавшегося им как государственные необ-

ходимость и благо, он и сидел перед духовенством и боярами, неторопливо обдумывая, с чего начать с ними разговор.

Справа и слева от него, как бы обрамляя трон своей малиново-позолоченной, в мехах пестротой, располагались царица, духовенство с митрополитом Макарием, черкесские и иные князья и любимчики, приближенные (на этот период) Иоанном ко двору. Все в ожидании смотрели на самодержца, Иоанн словно бы ответно смотрел на них, выдержкой и молчанием лишь подогревая страсти. Кроме митрополита Макария, никто не был посвящен в его замыслы, и остававшиеся в неведении бояре и духовенство терялись в догадках и не знали, что предположить. В напряженности всегда обостряются слух и зрение, и от бояр и духовенства не ускользнуло то странное беспокойство, с каким митрополит Макарий оглядывался то на царя, то на царицу, то на всех остальных, сидевших перед троном, вдоль стен да и у самого трона. Создавалось впечатление, будто бы что-то черное пролегло между царем и митрополитом и вот-вот должно было обнаружиться и поразить всех.

Но что? Невозмутимость царя только прибавляла загадочности, а суетливость всегда прежде уравновешенного Первосвященника усиливала ее.

Приглашенный (накануне этого дня) Иоанном для беседы, митрополит Макарий ясно вынес из нее лишь одно, что царь решил наложить кабалу на всех и вся в державе (на том будто бы основании, что Богом данные ему в подчинение есть все рабы и должны быть одинаково равны перед троном) и что не только вельможи и народ, и без того бесправный и безголовый, но и духовенство отныне будет притеснено и лишено свободы заступничества. Речь пока не шла о разделении страны на земство и опричнину, да и само слово «опричнина» не было еще знакомо Иоанну и не произносилось им; но и этого, что он предложил, было достаточно для митрополита Макария, чтобы понять, какое будущее уготовливалось державе.

Должный благословить Иоанна в его замыслах, Макарий не сделал этого; он понимал (по своему болезненному состоянию и немощности), что жизнь его подвигалась к концу, и не хотел быть проклятым ни ныне, ни в будущих поколениях. Опираясь на примеры из священных книг, как и было принято тогда (и что использовал затем сам Иоанн в переписке с Курбским), он лишь посмел посоветовать царю не спешить и прежде осмыслить все, чтобы не произвести какой-либо смуты — в народе ли, или среди бояр; и, оставив царя в недоумении, почтительно удалился к себе. Ночь провел в молитвах и думах, надеясь еще вразумить Иоанна, но ничего остановить было уже нельзя. Утром Иоанн не принял его, и вот — весь цвет духовенства и бояр, колеблясь между ожиданием то ли великого, что будет оглашено, то ли недоброго, страшного, что должно свершиться, готов был к безропотному послушанию. Митрополит Макарий более чем понимал это и, понимая, судорожно отыскивал, чем можно было бы удержать Иоанна от неразумно-

го шага. Дорого было каждое мгновение, и потому он метался взглядом от царицы к Иоанну и опять к царице, которая одна, как ему казалось, только и могла теперь повлиять на самодержца; и в тот самый момент, когда Иоанн готов был уже начать речь, митрополит, всплеснув руками, двинулся к царице, то ли желая от чего-то спасти, то ли заслонить ее.

— Государь, — по-церковному громко еще, но уже старчески угасающим голосом произнес он. — Государь!.. — Направлением рук и всем своим порывом указывая на царицу.

Ему показалось, что с Марией стало плохо, в то время как плохо стало с ним самим; путаясь в широченных на нем, как на сухой жерди, церковной обрядовой одежде, он не добежал до царицы и рухнул на пол; стоявшие рядом святители: одни кинулись поднимать его, другие — к царице, побледневшей более от испуга, чем от переутомления и слабости, к ним присоединились князья, бояре, желая каждый выказать себя перед царем, и в общей суете и сутолоке было уже трудно понять, что происходило на самом деле, кто затеял все и была ли нужда для этого. В конце концов разобравшись, сначала отправили царицу в полуобморочном состоянии в покои, затем подхватили и понесли митрополита, порывавшегося еще что-то сказать, но лишь бессильно ронявшего голову, и вслед за ними вышел Иоанн, полный недоумения и не налившегося еще гнева, готового подняться в нем. Он постоял перед царицей, вокруг которой, расталкивая всех, хлопотали придворные дамы и лекари, затем, ничего не сказав, прошел к митрополиту, чтобы посмотреть, в каком тот состоянии и, не произнеся ничего и здесь, в тяжелой задумчивости вернулся в зал. Бояре и духовенство — все сидели уже на местах; они встретили Иоанна так, будто были в чем-то виноваты перед ним и, поклонившись, долго не разгибали спин; лишь когда затих шелест царской одежды, и, казалось, слышно было, как дышит Иоанн, воцарившийся на троне, бояре вновь опустили на лавки, выставив поверх одежд, на груди, свои пушистые расчесанные бороды.

Минуты душевной работы не остаются в истории, в чьем бы сознании ни происходила эта работа, в сознании ли бояр, как теперь, или сознании Иоанна; но поступки, являющиеся в результате подобных усилий, — поступки способны раскрыть многое, если не все, из тайны тайн человеческих переживаний и мыслей. Иоанн был в растерянности. Он опять словно бы наткнулся на нечто непреодолимое, специально приготовленное ему, и опять все связано было с царицей, от которой он ждал, что она принесет ему успех и славу, но с появлением которой только все стопорилось и рушилось, будто на самой этой женитьбе, на ней лежало проклятье, возведенное не столько даже Богом, сколько недовольством бояр и духовенства, давно, тайно (и преступно) замысливших извести царский род. Но так как сила любви и привязанности к Марии была выше в нем, чем поднимавшиеся гнев и неприятие, и так как в столкновении этих начал верх брало первое (он все же создавал, хотя и смутно, что она безвинна, несчастна, и жалел ее), то и недовольство

и гнев невольно (и все более) переносились им на бояр и духовенство, на которых он угрожающе-пришуренно смотрел с трона.

Он так и не сказал им в этот день ничего, и точно так же, как выезжая затем морозным утром из Москвы (под бой колоколов и со всем своим царским скарбом), бросал вызов державе, — бросил теперь вызов им, молча удалившись из зала и оставив их в растерянности и недоумении.

* * *

Воспоминания проходят так же, как проходит жизнь, и если что и оставляют на душе, то лишь повторный след, иногда даже более глубокий, чем сама жизнь. Так было и с Иоанном, когда, покачиваясь в санных вместе с царицей, он перебирал в памяти те прошлые и важные (для осмысления настоящего) события, в которых сколько же душевных сил (и впустую, как думал теперь) было потрачено им; и чем дальше обоз увозил его от столицы, чем ближе подвигался Иоанн к Коломенскому, тем расплывчатей, туманней становилось прошлое, словно бы, как и силуэты Москвы, оседавшие за горизонтом; с минуты на минуту должны были открыться впереди колокольня и купола церкви Вознесения, и в то время как он, напрягая зрение, старался увидеть эти знакомые очертания, — напрягал мысли, стараясь сосредоточиться на том новом и важном для себя, что вот-вот, как и купола, должно было итогом воспоминаний явиться ему. Он не то чтобы пересматривал свои отношения с Марией; не то чтобы, желая восстановить их, искал оправдание ее поступкам и зачерствелой уже будто к нему холодности; нет, если бы даже захотел, не смог бы изменить ничего, как нельзя на исходе лета вернуть отшумевшее буйство трав; но в то время как, испытывая равнодушие к ней, он не оборачивался и не смотрел на царицу, вопрос, способна ли она принести ему успех и славу или только доставлять огорчения, по-прежнему оставался главным, и разница состояла лишь в том, что он не слепо уже, не на гребне чувств, а рассудительностью пытался прийти к нужному ответу. «Может, так было угодно Богу и направлялось им», — думал Иоанн, снова и снова возвращаясь к тому, как оставил царицу с умершим сыном в обители, и к своим ночным затем, в молитвах, бдениям, когда ему словно бы вдруг открылась простая, ясная (и страшная, добавим от себя) истина власти, и к событиям в тронном зале, когда то ли по вине Марии, в чем Иоанн не был уверен, то ли самовольству митрополита Макария (кстати, вскоре же скончавшегося после этого своего поступка) было разрушено столь желанное торжество. Он чувствовал себя тогда оскорбленным, и только предсмертное состояние Макария помешало вылить на всех царский гнев; но теперь — теперь был доволен, даже рад, что не произошло иного, чем произошло, и у него появилось время для более основательной проработки дела; именно это и представлялось ему божьим знаком или божьей рукой, на-

правлявшей события, и как только он переносил этот знак на Марию, начинал одобрительно думать о ней. Держава, Мария и он, божий помазанник, со своим отношением к державе и к Марии, — в этом трехграннике и заключены были и вращались теперь его мысли, пока еще спокойные, убаюканные дорогой, видом заснеженного простора, ратников на конях вдоль обочин, сопровождавших обоз, и видом изморози на спине и плечах ездового, одетого в суконный зипун и подпоясанного кушаком.

Зимняя дорога редко когда взывает к живости ума. Вокруг, сколько охватывает глаз, все белым-бело, неподвижно, стыло и мертво, лишь изредка вдруг обозначится полоса дальнего леса или сметанные рядком стога с наезженной к ним колесей и двумя-тремя санными упряжками и мужиками возле них, навьючивающими сено. Нескольким ратников сейчас же направлялось к ним, чтобы узнать, что за люди, и не имеют ли злого умысла (охрана всегда есть охрана, и, как и теперь, не теряет бдительности), мужики же, побросав работу и опершись на воткнутые перед собой вилы, с удивлением смотрели, как на диво, на царский обоз, длиннющим серым кнутовищем тянувшийся по дороге, а на мужиков, на ратников, пыливших снегом, и на стога оборачивался Иоанн, несколько отвлекаясь от мыслей. Коломенское было уже где-то совсем близко, за взгорьем, у реки, теперь наглухо скованной льдом. Иоанн любил бывать в Коломенском летом, но не менее любил бывать и зимой, обосновавшись в бревенчатом, не очень просторном, но хорошо протопливавшемся своем дворце, своей летней, как позднее стали называть ее, резиденции, в которой отдыхал и предавался раздумьям, а время удаляясь от дел державных, от князей, бояр, воевод и духовенства, часто до ряби в глазах утомлявших его. По складу души, характеру, задаткам и гену, какой был заложен в нем, как закладывается в каждом человеке, и что делает людей людьми и объединяет вокруг общих интересов и ценностей жизни, он более тяготел к делам семейным, личным, как уже говорилось, чем к государственным, и если бы не вирус власти, которым с детства, даже, в сущности, с рождения было уже отравлено его бытие, он мог бы стать не только примерным семьянином, предпочитающим уют домашний дворцовым церемониям, чопорности и роскоши, но и добropорядочным, отзывчивым на чужие страдания и боль гражданина отечества. Ничто так не успокаивало и не удовлетворяло его, как именно тихие зимние вечера в Коломенском, куда он на неделю, на две удалялся с прежней (покойной ныне) женой Анастасией. Едва начинало темнеть, он входил в гостиную, выдержанную в красных тонах, и, разместившись в кресле перед камином, погружался в мир неторопливых домашних раздумий. В камине потрескивали березовые поленья, отдавая теплом, теплом отдавали хорошо протопленные кафельные печи, и, казалось, сам красный тон гостиной, зажженные вдоль стен и на столе свечи в грузных, многолапых подсвечниках, да и все, все, что наполняло ее, было начинено этой умиротворяющей теплотой. Вскоре появлялась

Анастасия в сопровождении нескольких близких ей дам, привнося и как бы добавляя ко всему теплоту женских, материнских чувств. Она устраивалась поближе к мужу и, взяв в руки спицы или иглу, принималась вязать или вышивать. В ней тоже жила тяга к простоте и естественности, к чему обычно тянутся все люди, в каком бы звании или чине ни пребывали и сколь ни выказывали бы внешней (и ложной) пренебрежительности к народному быту; в Анастасии Иоанна привлекало именно это, что заставляло забывать о быте царском и приобщало к вековой повседневности, и в такие минуты все вокруг обретало для него тот неповторимый (он и для всех неизбежен и неповторим) житейский смысл, в котором одном только и соединены все исцеляющие человеческую душу начала. На чаепитье, когда вносили самовар, приглашались дети: сыновья Иван и Федор и дочь Евдокия, приходил и бывший слугитель придворного Благовещенского собора иерей Сильвестр, ставший главным духовником и советником Иоанна, и за разговорами, за этой домашней открытостью и непринужденностью еще более душа получала удовлетворение и жизнь обретала свой естественный смысл.

Особенное впечатление производили на Иоанна неторопливые и углубленные беседы с Сильвестром. Автор «Домостроя» (тогда он только еще работал над этим своим знаменитым трудом, ныне незаслуженно, может быть, и основательно подзабытым), человек достаточно образованный для своего времени, упоенно веривший в торжество справедливости, в то, что не на основах насилия, а на основах добра должно строиться все: и жизнь личная, семейная, и общественная, и не только словом, но и делом старавшийся изменить ее к лучшему, — автор «Домостроя» был для Иоанна одновременно и учителем, и наставником, и самым благотворным образом, может быть, даже не вполне осознавая всего, влиял на самодержца. Самовар пустел, все расходились, и оставались за столом только Сильвестр и Иоанн. Они, то поочередно прохаживаясь перед столом, излагали друг другу свои воззрения на историю, на основы религии и человеческого бытия, причем больше говорил (и брал верх) Сильвестр, чем Иоанн, тогда умевший еще слушать и понимать не только себя, то переходили к камину, чтобы с новым вдохновением погрузиться в выяснение извечной, но так и остающейся, по-моему, невыясненной истины человеческого предназначения и бытия. По два, три раза заменялись в подсвечниках свечи, вычищалась из каминного очага зола и укладывались и разжигались поленья. За окном ветер наметал сугробы, трещал мороз, и в этой непроглядной, стылой ночи, распростершись на сотни меряных и немеряных верст, лежала великая Российская держава со своими столь же считанными, сколь и нечитанными проблемами, требовавшая участия и внимания к себе, но она только лишь осознавалась собеседниками, как некий предмет для разговора; она не была поклажей или ношей, которую надо было взвалить на себя, и не тяготила, не сдавливала ни плечи, ни спину, ни душу, и эта-то абстрактность, когда можно высказывать самые благие пожелания и не

предпринимать ничего, ни за что не браться и не отвечать, — эта-то абстрактность как раз, видимо, и нравилась Иоанну и привлекала его. Он не был в такие минуты ни царем, ни самодержцем, а лишь чувствовал себя тем живущим в достатке добропорядочным семьянином, которому отчего бы и не позволить себе пофилософствовать на отвлеченные и возвышенные темы, когда в делах своих — домашних, семейных — все дышит стабильностью и благополучием.

На исходе недели, иногда и раньше приезжал в Коломенское Адашев. Он не осмеливался тревожить Иоанна вечером, зная и понимая состояние царя, и появлялся у него на следующий день между завтраком и обедом — сухощавый, подтянутый, с округлою русою бородкой, светлым взглядом и светлым лицом. Он замечал недовольство Иоанна, но так как полагал, что выше дел государственных нет и не может быть никаких недовольств и амбиций, терпеливо исполнял то, за чем приезжал. Он отрывал Иоанна от наслаждений семейной жизнью, иначе говоря, тех потребностей, которые изначально насущны для всех людей, и вовлекал, вернее, навязывал то, чему надо было отдаваться не по потребности души, а по обязанностям, словно он был не царем, не самодержцем, который только один способен знать, когда и кому что нужно, а волом, должным покорно подставлять под ярмо шею. Минутами у него возникало не просто раздражение, а прямо-таки ненависть к делам государственным, но поскольку за всяким делом всегда стоят личности, то и ненависть переносилась на эти личности, на воевод, бояр, святителей и народ, на все и вся в державе, мешавшее и не дававшее ему жить, как хотел. После отъезда Адашева он еще день, другой оставался в Коломенском. Но душевное равновесие бывало нарушено, он приказывал запрягать лошадей и спешно мчался в Москву, в гнев на всех: Адашева, Сильвестра, жену, детей, державу.

Но, приближаясь теперь к Коломенскому, он вспоминал не эти свои гневные отъезды; перед глазами, в воображении, словно распахивалась вся выдержанная в красных тонах гостиная, приманивая забытой уже теплотой и уютом и вызывая к жизни то чувство удовлетворенности, какое так приятно было испытывать ему тогда; и, ни разу не обернувшийся за всю дорогу на царицу, Иоанн вдруг (и что не осталось незамеченным для Марии) с надеждой и нежностью посмотрел на нее.

* * *

Перед самым Коломенским обоз встретили князь Афанасий Вяземский, боярин Алексей Басманов с сыном, кравчим Федором. Доложив Иоанну, что все приготовлено к его приему и встрече, они затем на разгоряченных лошадях мелким гарцующим аллюром сопровождали царские сани. Смотреть на них было приятно, как всегда приятно смотреть на молодость, ловкость и силу. Их беззаботность, их веселый настрой, должный вот-вот перейти, но не переходивший в озорство, не-

вольно передавался Иоанну, и, может быть, за это-то он и любил и баловал их. Да и что было им не веселиться, когда, в сущности, они ни к чему не прикладывали рук; в Коломенском всем заправлял архимандрит Левкий вместе с настоятелем церкви и еще несколькими монахами, славившимися тем, что хорошо умели исполнить, что повелят им, и держать язык за зубами; что касалось царского дворца, который тоже надо было и протопить, и приготовить, то и тут — достаточно имелось и вельможных, и невельможных холопей, чтобы позаботиться обо всем. Весело им было еще и потому, что досужий настоятель Чудова монастыря, то есть преподобный архимандрит Левкий успел распорядиться и насчет ночной холостяцкой пирушки (с местными деревенскими девками), на которую, как тайно задумывалось им, можно было бы пригласить и Иоанна.

Едва с колокольной увидели головные сани царского обоза, ударили в колокола, народ, заснувший было на морозе, встрепенулся, и архимандрит Левкий со святителями, выставив вперед себя прихожан с хлебом и солью на полотенце, приготовились к встрече. Иоанн въезжал на площадь не как всегда, не лихо, а с какой-то будто крестьянской неторопливостью или бережливостью жалея коней и сани. С той же неторопливостью, выйдя из саней и отряхнувшись от изморози, двинулся было навстречу подходящим к нему прихожанам с хлебом-солью и святителями с иконами Богородицы и Николая Чудотворца, чей престольный праздник собирались в этот день отмечать, и, может быть, все обошлось бы как обычно и, приняв хлеб-соль, царь поблагодарил бы прихожан и, получив благословение от святителей, поспешил во дворец, чтобы отогреться с дороги, отдохнуть и потрапезничать — в семейном кругу и с приглашением только тех лиц, какие приятно было ему увидеть теперь возле себя; но, вспомнив, что в соответствии со своим замыслом он был теперь не царем, а человеком, решившим в знак недовольства и обиды на бояр, святителей и народ снять с себя тягость правителя, иными словами, осиротив державу, дать ей почувствовать, кого она может потерять и с чем остаться (разумеется, он не собирался отдавать трон, а только пугал и был убежден, что к нему придут, приползут с увещеваниями и просьбой, и тогда-то уж — тогда-то он и предъявит им свои условия), — в соответствии с этим замыслом (и чтобы придать правдивость всему) он не должен был принимать столь высокие почести; но, на мгновенье заколебавшись (так как о намерении своем пока что знал только он сам), решил все же не испытывать судьбу и принял и хлеб-соль, и благословение от святителей, и даже троекратно обнялся с теми почтенными старцами, кои и всегда-то, выдвинувшись вперед, на правах хозяев от народа принимали царя. Но настроение у Иоанна было испорчено. Он был недоволен собой, и чтобы восстановить душевное равновесие, отказался пойти во дворец, куда пригласили его, и где уже накрыт был стол с горячей едой, питьем и закусками; он велел разгружать сани и, окруженный несколько недоумевавшими своими любимца-

ми, стоял и смотрел, как распаковывались и вносились казна и драгоценные вещи, словно опасался, что будет что-либо украдено или разбито. Оставив Москву, то есть оставив, в сущности, державу, а точнее, оставшись без нее, он и в самом деле вдруг почувствовал, что остается ни с чем, и в нем впервые (и заметно) проявилась та осуждаемая в народе житейская мелочность, та скупость, не должная будто бы гнездиться в душах царских особ, которая затем, обретя государственные масштабы, обернется ужасающим бедствием для людей.

Только когда все было занесено, то есть уже почти затемно Иоанн позволил себе войти во дворец. Он вел себя столь необычно, что никто не осмеливался хоть о чем-либо спросить его. Все только беспокойно переглядывались. Особенно же волновались святители, которым надо было начинать службу, — торжественную литургию в честь Николая Чудотворца, покровителя здешней церкви и всего прихода, — и которые не могли и не хотели начинать, пока не появится царь. Народ тоже был возбужден: и ожиданием этой праздничной службы, и появлением на ней царя и царицы, и все в нетерпении оборачивались на дворец. Но Иоанн не торопился. Зная, что все приостановлено и ждет его, зная, главное, вернее, сознавая, что он теперь не царь (будто бы не царь), и что у него нет права задерживать народ, он вместе с тем, как ни боролся с собой, не мог преодолеть той своей значимости, за которой все начиналось и заканчивалось на нем и, дав еще отдохнуть себе после обильного и сытного обеда, и затем подождав, пока приготовится к выходу царица, прошествовал вместе с ней сквозь притихшую в поклоне толпу к церкви, где уже все было залито огоньками свечей, искрилось позолотой окладов, риз, пахло ладаном и тем особым (от многолюдства) духом, какой и поныне густо стоит в наших сырых, нетопленных, каменных церквях.

АНАНЬЕВ Анатолий Андреевич

КАНУН ОПРИЧНИНЫ

*Главы из нового романа
«Лики бессмертной власти»*

Редактор Т. А. Воронина

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 24.01.91. Подписано к печати 1.03.91. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,27. Тираж 90000 экз. Заказ № 106.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
В ЭТОМ ГОДУ
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие годы»;
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»;
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ «Незабвенный Мишуня»;
В. РЕЦЕПТЕР «До третьего звонка»;
Б. ЗАЙЦЕВ «Братья-писатели»;
М. КВЛИВИДЗЕ «Продолжение следует»;
Г. БЕЛАЯ «Затонувшая Атлантида».